**Жан Бодрийяр**

**СИМУЛЯКРЫ И СИМУЛЯЦИЯ**

ПРЕЦЕССИЯ СИМУЛЯКРОВ

 Симулякр — это вовсе не то, что скрывает собой истину, — это истина, скрывающая, что ее нет. Симулякр есть истина.

 Экклезиаст

 Даже если бы мы могли использовать как наилучшую аллегорию симуляции фантастический рассказ Борхеса, в котором имперские картографы составляют настолько детальную карту, что она, в конце концов, покрывает точно всю территорию (однако с упадком Империи эта карта начинает понемногу трепаться и распадается, и лишь несколько клочьев еще виднеются в пустынях — метафизическая красота разрушенной абстракции, соизмеримой с масштабами претенциозности Империи, абстракции, которая разлагается как мертвое тело и обращается в прах, — так и копия, подвергшаяся искусственному старению, в конце концов, начинает восприниматься как реальность), — все равно эта история для нас уже в прошлом и содержит в себе лишь скромную обворожительность симулякров второго порядка. Абстракция сегодня — это не абстракция карты, копии, зеркала или концепта. Симуляция — это уже не симуляция территории, референтного сущего, субстанции. Она — порождение моделей, реального без первопричины и без реальности: гиперреального. Территория больше ни предшествует карте, ни живет дольше нее. Отныне карта предшествует территории — прецессия симулякров, — именно она порождает территорию, и если вернуться к нашему фантастическому рассказу, то теперь клочья территории медленно тлели бы на пространстве карты. То здесь, то там остатки реального, а не карты, продолжали бы существовать в пустынях, которые перестали принадлежать Империи, а стали нашей пустыней. Пустыней самой реальности. На самом деле даже в перевернутом виде рассказ Борхеса не пригоден для использования. Остается, наверное, лишь аллегория об Империи. Ведь современные симуляторы прибегают к такому же империализму, когда стараются совместить реальное — все реальное — со своими моделями симуляции. Однако речь уже не о карте и не о территории. Исчезло самое главное: суверенное различие между одним и другим, что предоставляло очарование абстракции. Ведь именно различие создает поэзию карты и обворожительность территории, магию концепта и обаяние реального. Эта мнимость репрезентации, которая достигает наивысшей точки и вместе с тем падает в пропасть в безумном проекте картографов достичь идеальной ровнообъемности карты и территории, исчезает в симуляции — действие которой ядерное и генетическое, а отнюдь не зеркальное и дискурсивное. Исчезает целая метафизика. Нет больше ни сущности и явления, ни реального и его концепта. Нет больше воображаемой ровнообъемности: измерением симуляции становится генетическая миниатюризация. Реальное производится, начиная с миниатюрнейших клеточек, матриц и запоминающих устройств, с моделей управления — и может быть воспроизведено несметное количество раз. Оно не обязано более быть рациональным, поскольку оно больше не соизмеряется с некоей, идеальной или негативной, инстанцией. Оно только операционально. Фактически, это уже больше и не реальное, поскольку его больше не обволакивает никакое воображаемое. Это гиперреальное, синтетический продукт, излучаемый комбинаторными моделями в безвоздушное гиперпространство. В этом переходе в пространство, искривленность которого не совпадает ни с искривленностью реального, ни с искривленностью истины, эра симуляции приоткрывается через ликвидацию всех референций — хуже того: через искусственное воскрешение их в системах знаков, материале еще более гибком, чем смысл, поскольку симулякр предлагает себя всяческим системам эквивалентности, всяческим бинарным оппозициям, всяческой комбинаторной алгебре. Речь идет уже ни об имитации, ни о дублировании, ни даже о пародии. Речь идет о субституции, замене реального знаками реального, то есть об операции по предупреждению любого реального процесса с помощью его оперативной копии, метастабильного механизма образов, запрограммированного и безупречного, который предоставляет все знаки реального и предупреждает все его неожиданные повороты. Больше никогда реальное не будет иметь возможности проявить себя — в этом состоит жизненная функция модели в системе смерти или, вернее, в системе заблаговременного воскрешения, которое больше не оставляет никакого шанса даже событию смерти. Отныне гиперреальное находится под прикрытием воображаемого и всего того, что отличает реальное от воображаемого, оставляя место лишь орбитальной циркуляции моделей и симулированному порождению различий.

 Божественная ирреферентность образов

 Прибегать к диссимуляции — это значит делать вид, что ты не имеешь того, что у тебя есть. Симулировать — это значит делать вид, что у тебя есть то, чего ты не имеешь. Одно отсылает к наличию, другое — к отсутствию. Но дело осложняется тем, что симулировать не означает просто притворяться: «Тот, кто прикидывается больным, может просто лечь в кровать и убеждать, что он болен. Тот, кто симулирует болезнь, находит у себя ее определенные симптомы» (Литтре). Итак, притворство, или диссимуляция, оставляют нетронутым принцип реальности: разница всегда ясна, она лишь замаскирована. Симуляция же ставит под сомнение различие между «истинным» и «ложным», между «реальным» и «мнимым». Больной или не больной симулянт, который демонстрирует «истинные» симптомы? Объективно его нельзя считать ни больным, ни здоровым. Психология и медицина останавливаются здесь перед истинностью болезни, которую с этих пор невозможно установить. Ведь если можно «вызвать» любой симптом и его нельзя трактовать как естественный факт, то тогда любую болезнь можно рассматривать как такую, которую можно симулировать и которую симулируют, и медицина теряет свой смысл, поскольку знает только, как лечить «реальные» болезни, исходя из их объективных причин. Психосоматика совершает сомнительные пируэты на границе принципа болезни. Что касается психоанализа, то он переносит симптом органического порядка в порядок бессознательного: последнее снова полагает «истинным», более истинным, чем первое, — но от чего бы симуляция должна остановиться перед дверями бессознательного? Почему «работу» бессознательного нельзя «подделать» таким же образом, как любой симптом классической медицины? Сны, например, уже можно. Конечно, психиатрия предполагает, что «каждая форма психического отчуждения имеет особый порядок развертывания симптомов, о котором не знает симулянт, и отсутствие которого не сможет ввести в заблуждение психиатра». Это утверждение (датированное 1865 годом) необходимо, лишь бы любой ценой спасти принцип конкретной истины и избежать проблемы, которую ставит симуляция, — проблемы того, что истина, референция, объективная причина перестали существовать. Что может сделать медицина с тем, что колеблется на самой грани болезни и здоровья, с дублированием болезни в дискурсе, который больше ни истинный, ни ложный? Что может сделать психоанализ с дублированием дискурса бессознательного в дискурсе симуляции, который нельзя больше разоблачить, поскольку он также не является ложным? Что может сделать с симулянтами армия? По обыкновению она разоблачает их и наказывает, исходя из четкого принципа идентификации. Сегодня она может освободить из своих рядов очень ловкого симулянта точно так же, как «истинного» гомосексуалиста, сердечника или сумасшедшего. Даже военная психология избегает картезианской четкости и не решается проводить различие между ложным и истинным, между «поддельным» и аутентичным симптомом. «Если он так хорошо изображает сумасшедшего, то это потому, что он им и является». И здесь военная психология не так уж и ошибается: в этом смысле все сумасшедшие симулируют, и это отсутствие различия является наихудшей разновидностью субверсии. Именно против этого отсутствия различий и восстает классический ум, вооруженный всеми своими категориями. Но это то, что сегодня вновь обходит его с флангов, угрожая принципу истины. После медицины и армии, любимых территорий симуляции, исследование ведет нас к религии и симулякру божественности: «Я запретил в храмах всяческое изображение, ведь Божество, которое одухотворяет природу, не может быть изображено». Вообще-то может. Но чем становится божество, когда предстает в иконах, когда множится в симулякрах? Остается ли оно высшей инстанцией, лишь условно запечатленной в образах наглядного богословия? Или исчезает в симулякрах, которые сами являют свой блеск и свою силу, которые зачаровывает, — наглядность икон заменяет при этом чистую и сверхчувственную Идею Бога? Именно этого боялись иконоборцы, чей тысячелетний спор продолжается и сегодня. Именно из предчувствия этой всесильности симулякров, этой способности их стирать Бога из сознания людей и этой разрушительной, убийственной истины, которую они собой заявляют, — что, в сущности, Бога никогда не было, что всегда существовал лишь его симулякр, или даже сам Бог всегда был лишь своим собственным симулякром, — и происходило стремление иконоборцев уничтожать иконы. Если бы они могли знать, что изображения лишь затеняют или маскируют платоновскую Идею Бога, причин для уничтожения не существовало бы. Можно жить идеей искаженной истины. Но до метафизического отчаяния их довела идея, что иконы вообще ничего не скрывают, что по сути это не образа, статус которых определяет действие оригинала, а полностью завершенные симулякры, непрерывно излучающие свои собственные чары. Поэтому и необходимо было любой ценой изгнать эту смерть божественной референции. Отсюда следует, что иконоборцы, которых обвиняют в пренебрежении и отрицании образов, на самом деле признавали за ними большую силу, в отличие от иконнопоклонников, которые видели в них лишь отображение и удовлетворялись тем, что поклонялись такому филигранному Богу. Можно, однако, рассуждать в обратном направлении, тогда иконопоклонники были наиболее современными и наиболее отважными умами, ведь они под видом проявления Бога в зеркале образов уже разыгрывали его смерть и его исчезновение в Эпифании его репрезентаций (о которых они, возможно, знали, что те больше ничего не репрезентуют, являясь лишь чистой игрой, однако именно в этом и состояла большая игра — они знали также и то, что развенчивать образы опасно, ведь они скрывают, что за ними ничего нет). Таков был подход иезуитов, которые строили свою политику на виртуальном исчезновении Бога и на светском и зрелищном манипулировании сознанием людей, — рассеяние Бога в Эпифании власти — конец трансцендентности, которая служит отныне лишь алиби для стратегии, абсолютно свободной от инфлюэнций и знаков. За пышной барочностью образов прячется серый кардинал политики. Следовательно, ставка всегда была на смертоносную силу образов, смертоносную для реального, смертоносную для собственной их модели, как якобы были смертоносными для божественной идентичности византийские иконы. Этой смертоносной силе противостоит сила репрезентаций как диалектическая сила, очевидная и понятная посредством Реального. Вся западная вера и праведность стали ставкой в этом пари на репрезентацию: что способно открыть глубину смысла знака, что способно обменять знак на смысл и что является ручательством этого обмена — конечно ж, Бог. Но что, если самого Бога можно симулировать, то есть свести к знакам, которые свидетельствуют о его существовании? Тогда вся система теряет вес, она сама становится не более чем гигантским симулякром — не ирреальностью, а симулякром, то есть тем, что уже никогда не обменивается на реальное, а обменивается на самое себя, в непрерывном круговороте без референции и предела. Такова симуляция в своем противопоставлении репрезентации. Репрезентация исходит из принципа эквивалентности знака и реального (даже если эта эквивалентность утопическая, она является фундаментальной аксиомой). Симуляция, наоборот, исходит из утопии принципа эквивалентности, из решительной негации знака как ценности, из знака как реверсии и умерщвления всякой референции. В то время как репрезентация пытается абсорбировать симуляцию, интерпретируя ее как ложную репрезентацию, симуляция охватывает все строение репрезентации, которая сама становится симулякром. Таковы последовательные фазы развития образа: он является отображением некой фундаментальной реальности; он маскирует и искажает фундаментальную реальность; он маскирует отсутствие фундаментальной реальности; он вообще не имеет отношения к какой бы то ни было реальности, являясь своим собственным симулякром в чистом виде. В первом случае образ — положительное явление: репрезентация принадлежит к сакраментальному порядку. Во втором — негативное: порядка порчи. В третьем он играет роль явления и принадлежит к порядку колдовства. В четвертом случае он принадлежит отнюдь не к порядку явлений, но к симуляции. Переход от знаков, которые что-то скрывают, к знакам, которые скрывают, что ничего нет, обозначает решительный поворот. Если первые отсылают к теологии истины и тайны (к которой еще принадлежит идеология), то вторые возвещают эру симулякров и симуляции, когда уже не существует Бога, чтобы распознать своих, и Страшного Суда, чтобы отделить ложное от истинного, реальное от его искусственного воскрешения, потому что все уже умерло и воскрешено заранее. Когда реальное больше не является тем, чем оно было, ностальгия присваивает себе все его значение. Непомерное раздувание мифов об истоках и знаках реальности. Непомерное раздувание вторичной истины, объективности и аутентичности. Эскалация истинного, пережитого, воскрешение образного там, где исчезли объект и субстанция. Неистовое производство реального и референтного, параллельное и превосходящее безумие материального производства: так симуляция входит в фазу, которая непосредственно затрагивает нас — стратегию реального, неореального и гиперреального, повсеместно дублируемую стратегией апотропии\*. -----------------

 \* Примечание переводчика: Поскольку точного аналога часто употребляемого Бодрийяром термина dissuasion (разубеждение, разуверение, отговаривание и одновременно устрашение, отпугивание, а также сдерживание, удержание и еще предотвращение и безОбразность) в русском языке нет, пришлось обратиться к греческому. Точный аналог, вмещающий все смыслы — апотропей. Чтобы дистанцироваться от того смысла, которое апотропей приобрел в русском (оберег, амулет), данное слово употребляется в женском роде: апотропия.

 Рамсес, или Воскрешение в розовом

 Этнология прикоснулась к своей парадоксальной смерти в тот день 1971 года, когда правительство Филиппин решило вернуть к первозданности, туда, где до них не доберутся колонизаторы, туристы и этнологи, несколько десятков тасадаев, которых незадолго до этого обнаружили в дебрях джунглей, где они прожили восемь столетий без каких-либо контактов с остальным человечеством. Это было сделано по инициативе самих антропологов, которые видели, как при контакте с ними туземцы сразу как бы «рассыпались», словно мумии на свежем воздухе. Для того чтобы этнология продолжала жить, необходимо чтобы умер ее объект, который, умирая, мстит за то, что его «открыли», и своей смертью бросает вызов науке, которая пытается овладеть им. Разве не живет любая наука на этом парадоксальном склоне, на который ее обрекает исчезновение ее объекта в тот самый момент, когда она пытается овладеть им и безжалостная реверсия, которую она получает со стороны мертвого объекта? Подобно Орфею, она постоянно оборачивается слишком рано, и подобно тому, как это было с Эвридикой, ее объект снова низвергается в Аид. Именно от этого дьявольского парадокса хотели уберечь себя этнологи, снова создавая вокруг тасадаев границу безопасности в виде девственного леса. Никто более не будет их беспокоить: рудник с золотоносной жилой закрыт. Наука теряет на этом целый капитал, но объект остается неповрежденным, потерянным для нее, но нетронутым в своей «девственности». Речь идет не о жертве (наука никогда не жертвует, она всегда смертоносна), а о симулированной жертве ее объекта с целью спасения ее принципа реальности. Тасадаи, замороженные в своем естественном состоянии, будут служить ей абсолютным алиби, вечной гарантией. Здесь и начинается бесконечная антиэтнология, которую в разной степени исповедуют Жолен, Кастанеда, Клястр. Как бы там ни было, но логическая эволюция науки состоит во все большем отдалении от своего объекта, пока она не начинает обходиться без него вовсе: ее автономность становится от этого еще более фантастичной, она достигает своей чистой формы. Вот так сосланный в резервации индеец, в своем стеклянном гробу девственного леса, снова становится симулятивной моделью всех возможных индейцев времен до этнологии. Благодаря такой модели этнология позволяет себе роскошь воплощаться вне своих границ, в «грубой» действительности этих перевоссозданных ею индейцев, — Дикарей, которые лишь благодаря этнологии остаются Дикарями: какой зеркальный поворот, какой триумф науки, которая, как казалось, была обречена истреблять их! Конечно же, такие Дикари — это посмертные создания: замороженные, крионированные, стерилизованные, защищенные от смерти, они стали референтными симулякрами, и сама наука стала чистой симуляцией. То же самое происходит в Крезо, в пределах экологического музея, где на месте событий музеефицировали как «исторических» свидетелей своей эпохи целые рабочие кварталы, действующие металлургические зоны, сразу целую культуру, мужчин, женщин, детей — вместе с их жестами, манерой разговаривать, обычаями, — при жизни превращенных в окаменелости, как на старых фотографиях. Музей, перестав быть геометрически ограниченным местом, теперь повсюду — как еще одно жизненное измерение. Так и этнология, вместо того, чтобы ограничить себя как объективную науку, теперь, освободившись от своего объекта, будет распространяться на все живое, и будет становиться невидимой, как вездесущее четвертое измерение — измерение симулякра. Мы все тасадаи — индейцы, которые благодаря этнологии вновь стали тем, чем они были, — индейцы-симулякры, которые, наконец, провозглашают универсальную истину этнологии. Мы все стали живыми экспонатами в спектральном свете этнологии, или антиэтнологии, которая является лишь чистой формой триумфальной этнологии, под знаком умерщвления различий и воскрешения различий. Поэтому очень наивно искать этнологию среди Дикарей или где-то в странах «третьего мира» — она здесь, повсюду, в метрополиях, среди белых людей, в целом мире — каталогизированном, проанализированном, а затем искусственно возрожденном наподобие реального — в мире симуляции, галлюцинации истины, шантажа реального, умерщвления любой символической формы и ее истеричной исторической ретроспекции — умерщвления, первыми жертвами которого (положение обязывает) стали Дикари, но которое уже давно распространилось на все западные общества. И вместе с тем этнология дает нам свой единственный и последний урок, открывая тайну, которая убивает ее (и которую Дикари знают гораздо лучше ее): месть мертвых. Ограничение объекта науки эквивалентно ограничению сумасшедших и мертвых. Точно так же, как целый социум неизлечимо заражен тем зеркалом безумия, которое он сам поставил перед собой, так и науке остается лишь умереть, заразившись смертью своего объекта, который является ее обращенным зеркалом. Наука якобы овладевает объектом, но на самом деле это он проникает в нее, в какой-то неосознанной реверсии, давая лишь пустые и повторяющиеся ответы на пустые и повторяющиеся вопросы. Ничего не меняется, ни когда социум разбивает зеркало безумия (упраздняя психбольницы, возвращая право голоса сумасшедшим и т. д.), ни когда наука, якобы, разбивает зеркало своей объективности (растворяясь в собственном объекте, как у Кастанеды, и т. д.) и склоняется перед «различиями». Форму ограничения сменяет бесконечно замедленный дифрагированный механизм. По мере того как этнология разрушается как классический институт, она перерождается в антиэтнологию, чьей задачей является инъецировать повсюду псевдо-различие, псевдо-Дикаря, чтобы скрыть, что именно этот, наш мир стал на свой манер диким, опустошенным различием и смертью. Таким же образом, под предлогом спасения оригинала, посетителям запретили доступ в гроты Ласко, но в пятистах метрах построили их точную копию, так что каждый может увидеть их (взглянуть через глазок на часть настоящего грота, а потом посетить реконструкцию всего остального). Возможно, что сама память об оригинальных гротах постепенно исчезнет из сознания будущих поколений, и тогда различий не будет: дублирования достаточно, чтобы оба объекта стали одинаково искусственными. Вот так же наука и технология не так давно мобилизовались, чтобы спасти мумию Рамсеса II, которая несколько десятилетий гнила в запасниках музея. Запад охватила паника при мысли, что он не сможет сохранить то, что символический порядок смог сберечь на протяжении сорока столетий, вдали от людского взора и солнечного света. Рамсес ничего не значит для нас, только его мумия не имеет цены, поскольку она — гарант того, что накопление имеет хоть какой-то смысл. Вся наша линейная и накопительная культура рушится, если мы не сможем создавать запасы прошлого у всех на глазах. Для этого нужно извлечь фараонов из их гробниц, а мумии — из их безмолвия. Для этой цели необходимо эксгумировать их и отдать им воинские почести. Они одновременно являются добычей науки и червей. Один лишь абсолютный секрет наделял их тысячелетней властью — господство над тленом, которое означало господство над полным циклом обменов со смертью. Мы способны ныне лишь на то, чтобы поставить науку на службу восстановлению мумии, то есть реконструкцию очевидного порядка, тогда же как бальзамирование было символическим обрядом, стремлением увековечить сокрытое измерение. Нам нужно зримое прошлое, зримый континуум, зримый миф о происхождении, который бы утешал нас относительно нашего конца. Хотя в глубине души мы никогда не верили в него. Отсюда и эта историческая сцена приема мумии в аэропорту Орли. Почему? Потому что Рамсес был великим деспотом и полководцем? Несомненно. Но прежде всего, потому, что наша культура грезит, будто за этой исчезнувшей силой, которую она пытается аннексировать, скрывается другой порядок, с которым она не имеет ничего общего, и она грезит, будто уничтожила этот порядок, эксгумировав его как свое собственное прошлое. Мы очарованы Рамсесом, как христиане эпохи Возрождения были очарованы американскими индейцами, этими (человеческими?) созданиями, которые никогда не знали Слова Христова. Поэтому был в начале колонизации момент оцепенения и растерянности перед самой возможностью избежать универсального закона Евангелия. Тогда следовало выбирать одно из двух: либо признать, что этот Закон не универсален, либо истребить индейцев, чтобы уничтожить улики. Как правило, довольствовались тем, что обращали их в свою веру, но даже просто обнаружения индейцев в дальнейшем было достаточно для их постепенного уничтожения. Вот так, достаточно будет эксгумировать Рамсеса, чтобы уничтожить его через музеефикацию. Ведь мумии уничтожают не черви: они погибают из-за изъятия из неспешного символического порядка, властелина тлена и смерти, и перехода к порядку истории, науки и музея — нашему порядку, который больше не властен ни над чем и способен лишь обрекать то, что предшествовало ему, на тлен и смерть, чтобы пытаться потом воскресить все это с помощью науки. Непоправимое насилие надо всем тайным, насилие со стороны цивилизации без тайн, ненависть этой цивилизации к своим собственным основам. Как этнология, которая делает вид, что отказывается от своего объекта, чтобы надежнее сохранить себя в своей чистой форме, так и демузеефикация всего лишь еще один виток искусственности. Свидетельством тому — монастырь Сен-Мишель де Кукса, который за огромные деньги будет возвращен на родину из Клойстерса в Нью-Йорке и снова установлен на «изначальном месте». И все должны аплодировать этому возвращению (как аплодировали «экспериментальной операции по отвоеванию тротуаров» на Елисейских полях!). Но если экспорт капителей действительно был актом своеволия, и если Клойстерс в Нью-Йорке все-таки является искусственной мозаикой всех культур (в соответствии с логикой капиталистической централизации ценностей), обратный вывоз к «изначальным местам», в свою очередь, насквозь искусственен: это абсолютный симулякр, который догнал «реальность», совершив полный оборот. Монастырь должен был остаться в Нью-Йорке в симулированной атмосфере, которая, по крайней мере, никого не вводила в заблуждение. Репатриация же — еще одна уловка, чтобы сделать вид, будто ничего не случилось, и тешить себя ретроспективной галлюцинацией. Таким же образом американцы хвалятся тем, что довели численность индейцев до той, какой она была до завоевания. Дескать, сотрем все и начинаем сначала. Они даже хвалятся, что достигнут большего, и превзойдут начальную цифру. Это будет доказательством превосходства цивилизации: она породит даже больше индейцев, чем они сами были способны себе позволить. (Звучит как злая шутка, так как это перепроизводство является еще одним способом уничтожения индейской культуры, ведь она, как любая племенная культура, основывается на ограниченности группы и отказе от какого-либо «неограниченного» роста, как мы это видим в случае с Иши. Поэтому в их демографическом «промоушне» скрывается еще один шаг к символическому уничтожению.) Так и мы все живем в мире, поразительно похожем на оригинальный — вещи в нем продублированы по своему собственному сценарию. Но это удвоение не означает, как это было традиционно, неизбежность их смерти — они уже очищены от своей смерти, и даже выглядят лучше, чем при жизни: более яркие, более настоящие, чем их оригиналы, словно лица в похоронных бюро.

 Гиперреальное и воображаемое

 Диснейленд — прекрасная модель всех запутанных порядков симулякров. Это, прежде всего игра иллюзии и воображения: Пираты, Пограничная территория, Мир будущего и т. д. Этот воображаемый мир, как считают, должен обеспечить успех действа. Но, что притягивает людей гораздо больше — это социальный микрокосм, миниатюризированная и религиозная Америка со всеми ее преимуществами и недостатками. Вы паркуетесь снаружи, становитесь в очередь внутри и остаетесь один на один с собой на выходе. В этом воображаемом мире единственной фантасмагорией является свойственная толпе теплота и притягательность, а также чрезмерное количество гаджетов, призванных создавать и поддерживать этот эффект множественных переживаний. Контраст с абсолютным одиночеством автостоянки — настоящего концентрационного лагеря — является полным. Другими словами: внутри — целый арсенал гаджетов, которые, как магниты притягивают толпу в разнонаправленных потоках; снаружи — одиночество, направленное на одну игрушку: автомобиль. По невероятному совпадению (и это, несомненно, одно из наиболее очаровательных свойств данного универсума) этот быстрозамороженный инфантильный мир, как оказывается, был задуман и воплощен в жизнь человеком, который сам находится сегодня в замороженном состоянии и ожидает своего воскрешения при температуре ниже 180 градусов Цельсия: Уолтом Диснеем. Вот так повсюду в Диснейленде проступает объективный профиль Америки — вплоть до морфологии индивидуальности и толпы. Миниатюра и комиксы служат тут для прославления всех ее ценностей. Забальзамированных и умиротворенных. Отсюда возможность (которой очень хорошо воспользовался Л. Марен в «Утопических пространственных играх») идеологического анализа Диснейленда, как дайджеста американского образа жизни, панегирика американским ценностям, идеализированной транспозиции противоречивой реальности. Все правильно. Но за этим кроется другое, и этот «идеологический» туман служит прикрытием симуляции третьего порядка: Диснейленд существует для того, чтобы скрыть, что Диснейлендом на самом деле является «реальная» страна — вся «реальная» Америка (примерно так, как тюрьмы служат для того, чтобы скрыть, что весь социум, благодаря своей банальной вездесущности, является тюрьмой). Диснейленд представляют как воображаемое, чтобы заставить нас поверить, что все остальное является реальным, тогда же как весь Лос-Анджелес и Америка, которые окружают его, уже более не реальны, а принадлежат к порядку гиперреального и симуляции. Речь идет уже не о ложной репре¬зентации реального (идеологии), а о том, чтобы скрыть, что реальное перестало быть реальным, и таким образом спасти принцип реальности. Иллюзорность Диснейленда не является ни истинной, ни ложной — это машина апотропии, вызванная на сцену для воспроизведения в обратной точке фикции реального. Отсюда идиотизм этого воображаемого, его инфантильное вырождение. Этот мир претендует на то, чтобы быть детским, чтобы убедить, что взрослые находятся в другом месте — в «реальном» мире, — и скрыть, что настоящая инфантильность повсюду, и это инфантильность самих взрослых, которые приходят сюда проиграться в детей, чтобы ввести самих себя в заблуждение относительно своей реальной инфантильности. А в общем, Диснейленд не уникален. Заколдованное Село, Волшебная гора, Морской мир: Лос-Анджелес находится в окружении эдаких электростанций воображаемого, которые обеспечивают реальным, энергией реального город, чья тайна как раз состоит в том, что отныне он — лишь сеть непрерывной ирреальной циркуляции — город сказочных масштабов, но без пространства и без пропорций. Также как и обычным и атомным электростанциям, так же, как киностудии, этому городу, который отныне является гиперсценарием и вечной киноплощадкой, необходимо это старое воображаемое (как симпатическая нервная система), состоящее из детских комплексов и фальшивых фантазмов. Диснейленд: пространство регенерации воображаемого, подобен размещенным в других местах, и даже в нем самом, заводам по переработке отходов. Сегодня повсюду перерабатывают отходы для их повторного использования, а мечты, фантазмы, воображаемое (историческое, сказочное, легендарное) детей и взрослых — и являются отходами, первыми ужасно токсичными испражнениями гиперреальной цивилизации. Диснейленд является прототипом этой новой функции на ментальном уровне. Но той же цели утилизации служат и все сексуальные, психические и соматические институции, на которые богата Калифорния. Люди больше не смотрят друг на друга — для этого существуют культурные и социальные институции. Они больше не прикасаются друг к другу, но существует контактотерапия. Они больше не ходят, но занимаются оздоровляющим бегом и т. д. Всюду восстанавливают утраченные способности, или деградировавшее тело, или потерянную социализацию, или утраченный вкус еды. Заново изобретают нужду, аскетизм, исчезнувшую грубую естественность: естественное питание, здоровую пищу, йогу. Подтверждается, но уже на ином уровне, идея Маршала Салинза, по которой бедность порождает не природа, а рыночная экономика: тут, на передовых рубежах триумфальной рыночной экономики, снова выдумывается нищета/знак, нищета/симулякр, симулируется поведение слаборазвитых (даже провозглашают марксистские тезисы) — для того, чтобы прикрываясь экологией, энергетическим кризисом и критикой капитала, добавить последний эзотерический венчик к триумфу эзотерической культуры. Но возможно, что ментальная катастрофа, имплозия и ментальная инволюция ждут систему такого рода, видимыми знаками которых, похоже, и является это дикое ожирение или невероятное сосуществование самых причудливых теорий и практик, которые соответствуют столь же невероятному заговору роскоши, райского блаженства и денег, невероятной материализации жизни и не поддающимся обнаружению противоречиям.

 Политическое колдовство

 Уотергейт. Тот же сценарий, что и в Диснейленде (эффект воображаемого, которое скрывает, что реальности уже нет по обе стороны искусственного периметра): только здесь эффект скандала, который скрывает, что не существует никакого различия между фактами и их изобличением (и у ЦРУ, и у журналистов Washington Post идентичные методы). Та же операция, направленная на регенерацию (через скандал моральных и политических принципов, через воображаемое) погибающего принципа реальности. Разоблачение скандала — это всегда дань уважения закону. И Уотергейт достиг особого успеха в навязывании идеи, что Уотергейт был скандалом — в этом значении это была удивительная операция по интоксикации. Хорошая доза реинвестиции политической морали в мировом масштабе. Можно было бы сказать вместе с Бурдье: «Сущность любого соотношения сил в том, что оно скрывает себя как таковое, и что оно приобретает полную силу лишь потому, что оно скрывает себя как таковое», понимая это так: капитал, лишенный морали и укоров совести, может функционировать, лишь прячась за моральной надстройкой, и тот, кто возрождает эту общественную мораль (через возмущения, обличение т. д.) — невольно работает капиталу на руку. Как журналисты Washington Post. Когда Бурдье провозглашает свою идеологическую формулу, подразумевая под «соотношением сил» истину капиталистического господства и осуждает это соотношение сил — он находится на той самой детерминистской и моралистической позиции, что и журналисты Washington Post, разоблачившие Уотергейтский скандал. Он выполняет ту же работу по очищению и возрождению морального порядка, порядка истины, в котором рождается истинное символическое насилие социального порядка, гораздо более глубокого, чем все соотношения сил, и который является для него лишь подвижным и индифферентным контуром в моральном и политическом сознании людей. Все, что требует от нас капитал, — это воспринимать его как нечто рациональное или бороться с ним во имя рациональности, воспринимать его как нечто моральное, или бороться с ним во имя нравственности. Это же можно рассмотреть в ином ключе: раньше пытались скрывать скандал — сегодня же пытаются скрывать, что никакого скандала нет. Уотергейт — не скандал: вот что необходимо сказать любой ценой, ведь именно это все и стараются скрыть — это диссимуляция, маскирующаяся укреплением нравственности и моральной паникой по мере приближения к примитивной (мизан)сцене капитала: его взрывная жестокость, его непостижимая кровожадность, его фундаментальная аморальность — вот что скандальное, неприемлемое для системы моральной и экономической эквивалентности, которая является аксиомой левой мысли со времен Просвещения и до коммунизма. Этой мысли приписывают соглашение с капиталом, но ему абсолютно это безразлично: он — чудовищная система без всяких принципов и ничего более. Это «просвещенная» мысль старается контролировать его, устанавливая для него правила. И все упреки, которые заменяют революционную мысль, сводятся сегодня к обвинению капитала в том, что он не соблюдается правил игры. «Власть несправедлива, ее правосудие — это классовое правосудие, капитал эксплуатирует нас, и т. д.», — как будто капитал был связан соглашением с обществом, которым он управляет. Это левые протягивают капиталу зеркало эквивалентности, надеясь, что он образумится и заинтересуется этой фантасмагорией общественного соглашения и будет выполнять свои обязательства перед всем обществом (заодно отпадает потребность в революции: достаточно чтобы капитал подчинился рациональной формуле обмена). Капитал никогда не был связан соглашением с обществом, над которым он властвует. Капитал — это колдовство общественных отношений, он — вызов обществу, и вызов этот должен приниматься как таковой. Капитал — это не скандал, который надо разоблачать согласно моральной или экономической рациональности, он — вызов, который надо принять согласно символическому закону.

 Обратная сторона ленты Мебиуса

 Итак, Уотергейт был лишь ловушкой, устроенной системой для своих противников — симуляцией скандала в регенерационных целях. Это воплощено в фильме персонажем «Глубокой Глотки», о котором говорили, что он серый кардинал республиканцев, манипулировавший левым крылом журналистов с целью избавиться от Никсона, — почему бы и нет? Все гипотезы возможны, однако эта лишняя: левые очень хорошо сами, непроизвольно, работают на правых. Впрочем, было бы наивно видеть в этом самоотверженную добросовестность. Ведь манипулирование является шаткой казуальностью, в которой позитив и негатив порождают и перекрывают друг друга, казуальностью, в которой больше нет ни актива, ни пассива. Именно произвольный переход друг в друга витков этой спирали казуальности и делает возможным сохранение принципа политической реальности. Именно через симуляцию ограниченного, условного поля перспективы, в рамках которого причины и следствия какого-либо действия или события можно просчитывать, и может сохранятся политическое правдоподобие (и конечно, «объективный» анализ, борьба и т. д.). Если рассматривать полный цикл любого действия или события в системе, в которой больше не существует линейной последовательности и диалектической полярности, в поле, расстроенном симуляцией, где исчезает детерминированность, то каждое действие здесь завершается с окончанием цикла, рассеиваясь во всех направлениях и становясь приемлемым для всех. Вот, к примеру, взрывы в Италии — это акция левых экстремистов, или правоэкстремистская провокация, или инсценировка центристов с целью дискредитации террористов и усиления своей шаткой власти, или же полицейский сценарий и шантаж общественной безопасностью? Все это одновременно правильно, и поиск подтверждения и даже объективности фактов не останавливает этого умопомрачения толкований. Это потому, что мы находимся в логике симуляции, которая больше не имеет ничего общего с логикой фактов и первопричинности. Симуляции присуща прецессия модели, всех моделей, основанная на самом простом факте — модели предшествуют своей, орбитальной как ракеты с ядерными боеголовками, циркуляции и составляют истинное магнитное поле события. Факты больше не имеют собственной траектории, они рождаются на пересечении моделей, один и тот же факт может быть порожден всеми моделями одновременно. Это предварение, эта прецессия, это короткое замыкание, это смешение факта со своей моделью (нет больше расхождения смысла, нет больше диалектической полярности, нет больше отрицательного заряда и имплозии антагонистических полюсов), — вот что каждый раз оставляет место для любых интерпретаций, даже самых противоречивых, — все они одинаково верные, в том смысле, что их истинность состоит во взаимообмене в пределах общего цикла, подобно моделям, из которых они проистекают. Коммунисты атакуют Социалистическую партию так, будто хотят разрушить весь союз левых. Они отстаивают идею, что это противодействие вызвано более радикальными политическими требованиями. На самом же деле это из-за того, что они не хотят власти. Но они не хотят ее из-за конъюнктуры, неблагоприятной для левых в целом, или неблагоприятной для них самих в рамках Союза левых сил — или же они принципиально больше не хотят власти? Когда Берлингуэр заявляет: «Не надо бояться того, что коммунисты придут к власти в Италии», — это одновременно означает: — что не следует бояться, потому что коммунисты, если они придут к власти, ничего не изменят в ее фундаментальном капиталистическом механизме; — что нет никакого риска, что они когда-нибудь вообще придут к власти (по той причине, что они не хотят ее), — и даже если они возьмут власть, то будут осуществлять ее всегда только через других; — что на самом деле власть, истинная власть, больше не существует, и потому нет ничего опасного в том, что кто-то ее возьмет или возвратит; — но еще: Я, Берлингуэр, не боюсь того, что коммунисты возьмут власть в Италии — что может стать очевидным, однако это не совсем так, ведь: — это может означать противоположное (ясно и без психоанализа): Я боюсь, что коммунисты возьмут власть (и для этого есть веские причины, даже у коммуниста). Все это одновременно верно. В этом состоит секрет дискурса, который больше не является лишь неоднозначным, как это случается с политическим дискурсом, но выражает невозможность определенной властной позиции, невозможность определенной позиции в дискурсе. И эта логика не склоняется ни в ту, ни в другую сторону. Она пронизывает все дискурсы, вопреки их желаниям. Кто распутает этот клубок противоречий? Гордиев узел можно было, по крайней мере, разрубить. Если же разрезать ленту Мебиуса, то она дает дополнительную спираль, однако уже без реверсивности поверхностей (в нашем случае: реверсивная последовательность гипотез). Перед нами ад симуляции, который уже не ад мучений и пыток, но ад тонкого, злонамеренного, неуловимого искажения смысла, где даже Бургосский процесс становятся еще одним подарком со стороны Франко западной демократии, которая получает возможность регенерировать свой собственный шаткий гуманизм, и чей возмущенный протест в свою очередь укрепляет режим Франко, объединяя испанские массы против иностранного вмешательства. Где во всем этом истина, когда подобные сговоры прекрасно происходят, даже без ведома заговорщиков? Объединение системы и ее крайней альтернативы, словно двух сторон кривого зеркала, «порочная» искривленность политического пространства, отныне намагниченного, циркулирующего, реверсивность правого и левого, искажение, которое выступает злым демоном коммутации, вся система, вся бесконечность капитала закольцована на его собственной поверхности: трансфинитной? И разве не то же самое происходит с желанием и пространством либидо? Объединение желания и стоимости, желания и капитала. Объединение желания и закона, финальное наслаждение — как метаморфоза закона (вот почему оно так щедро представлена в повестке дня): наслаждается лишь капитал, говорил Лиотар, прежде чем в дальнейшем прийти к мысли, что теперь мы получаем наслаждение в капитале. Подавляющее универсальность желания у Делеза, загадочную реверсию, которую приносит желание «революционное в себе, и как будто невольно, желая, что оно хочет» собственного угнетения, оно вкладывает свою силу в параноидальные и фашистские системы. Злонамеренное искажение, которое отсылает эту революцию желания к той самой фундаментальной двусмысленности, как и другую революцию — историческую. Все референции смешивают свои дискурсы вкруговую, в стиле Мебиуса. Секс и работа не так давно были теми двумя условиями, которые упрямо противопоставлялись друг другу; сегодня и то, и другое являются потребностями одного типа. Раньше дискурс истории набирал силу, решительно противопоставляя себя дискурсу природы, дискурс желания — дискурсу власти, — сегодня они обмениваются своими значениями и своими сценариями. Понадобилось бы слишком много времени, чтобы попутно рассмотреть всю гамму операционной отрицательности всех тех сценариев апотропии, которые, подобно Уотергейту, пытаются регенерировать агонизирующий принцип через симулированный скандал, фантазм, убийство, — своего рода курс гормональной терапии через отрицание и кризис. Речь всегда о том, чтобы доказывать реальное через воображаемое, истину через скандал, закон через нарушение, существование работы через забастовку, существование системы через кризис, а капитала — через революцию; подобно рассмотренному выше (история с тасадаями) доказательству этнологии через отказ от ее объекта, и это без учета: доказательства театра через антитеатр; доказательства искусства через антиискусство; доказательства педагогики через антипедагогику; доказательства психиатрии через антипсихиатрию, и т. д. Все превращается в свою противоположность, чтобы увековечить себя в откорректированном виде. Все власти, все институты говорят о себе через отрицание, стараясь через симуляцию смерти избежать своей реальной агонии. Власть может инсценировать свое собственное убийство, лишь бы отыскать проблеск существования и легитимности. Так было в случае с некоторыми американскими президентами: Кеннеди были убиты потому, что еще имели политическое измерение. Другие — Джонсон, Никсон, Форд — имели право лишь на призрачные покушения, на симулированные убийства. Но эта аура искусственной угрозы им все еще была необходима, чтобы скрыть, что они лишь манекены власти. Когда-то король (как и Бог) должен был умереть, в этом была его сила. Сегодня он вынужден убого симулировать смерть, с тем, чтобы сохранить благодать власти. Но она уже утрачена. Искать свежие силы в своей собственной смерти, возобновлять цикл через зеркало кризиса, отрицание и антивласть — вот единственный выход-алиби любой власти, любого института, пытающегося разорвать порочный круг своей безответственности и своего фундаментального несуществования, своего псевдосмысла и своей псевдосмерти.

 Стратегия реального

 К тому же порядку, что и невозможность отыскать абсолютный уровень реального, принадлежит невозможность инсценировать иллюзию. Иллюзия больше невозможна, потому что больше невозможна реальность. Перед нами возникает вся политическая проблема пародии, гиперсимуляции или агрессивной симуляции. Например, было бы интересно увидеть, будет ли репрессивный аппарат реагировать с большей силой на симулированное вооруженное ограбление, чем на реальное? Ведь последнее всего лишь нарушает порядок вещей, право собственности, тогда как первое посягает на сам принцип реальности. Преступление и насилие менее серьезны, потому что они оспаривают лишь распределение реального. Симуляция же бесконечно опаснее, так как, независимо от своего объекта, позволяет в любой момент сделать страшное предположение что порядок и закон сами могут быть всего-навсего симуляцией. Однако сложность пропорциональна опасности. Как симулировать преступление и привести его доказательство? Симулируя кражу в супермаркете — как убедить службу безопасности, что это симулированная кража? Никакого «объективного» различия: жесты, знаки, — все то же самое, что и при реальной краже, все это не доказательства ни в чью пользу. С точки зрения существующей системы эти телодвижения всегда принадлежат к порядку реального. Организуйте ложный налет. Тщательно проверьте безопасность своего оружия и возьмите наиболее надежного заложника, чтобы ни одна человеческая жизнь не подверглась опасности (потому что тогда вы попадаете в сферу уголовной юрисдикции). Потребуйте выкуп и сделайте все, чтобы операция достигла по возможности большей огласки, — короче говоря, сделайте все как можно более правдоподобно, чтобы проверить реакцию аппарата на совершенный симулякр. Вам это не удастся: сеть искусственных знаков безнадежно перепутается с реальными элементами (полицейский в самом деле выстрелит в цель; клиент банка потеряет сознание и умрет от сердечного приступа; вам реально заплатят выкуп фальшивыми деньгами), короче говоря, вы против своей воли сразу окажетесь в реальном, одна из функций которого состоит именно в том, чтобы уничтожать любую попытку симуляции, чтобы сводить все к реальному, — это, собственно, и есть установленный порядок, который возник задолго до того, как в игру вошли всякие институции и правосудие. В этой невозможности отделить процесс симуляции нужно видеть силу порядка, который не способен видеть и постигать что-либо кроме реального, потому что он не может существовать больше нигде. Даже если симуляция преступления будет установлена, она будет подвергнута или легкой степени наказания, как не имевшая последствий, или же наказана как оскорбление правоохранительных органов (например, если полицейскую операцию была развернута «без оснований») — но никогда как симуляция, потому что как раз в качестве таковой она не может быть приравнена к реальному, а значит, невозможно и подавление. Власть не может ответить на вызов симуляции. А как подвергнуть наказанию симуляцию добродетели? А ведь это грех куда более тяжкий, нежели симуляция преступления. Пародия уравнивает друг с другом покорность и нарушение, и вот в этом-то и кроется наибольшее преступление, поскольку оно аннулирует различие, на котором основывается закон. Установленный порядок ничего не может с этим поделать, поскольку закон представляет собой симулякр второго порядка, тогда как симуляция относится к третьему, располагаясь по ту сторону истинного и ложного, по ту сторону эквивалентного, по ту сторону рациональных различий, на которые полагаются любое социальное и любая власть. Вот туда-то, в изъян реального, и следует нацеливать порядок. Именно поэтому последний всегда выбирает реальное. В сомнениях он всегда отдает предпочтение этой гипотезе (так в армии предпочитают считать симулянта истинным сумасшедшим). Однако это становится все более трудным, ведь, если практически невозможно отделить процесс симуляции от того «реального по инерции», которое нас окружает, то верно и обратное (и именно эта обратимость составляет часть аппарата симуляции и бессилия власти), а именно: теперь невозможно ни отделить процесс реального, ни предоставить доказательства реального. Вот так все теракты, угоны самолетов и т. д. отныне являются в некотором смысле преступлениями-симуляциями, если иметь в виду их заведомую вписанность в декодирование и ритуальную оркестровку средств массовой информации с заведомо известным сценариями и возможными последствиями. Короче говоря, они функционируют как комплекс знаков, предназначенных исключительно для своего повторения как знаков, а вовсе не для своей «реальной» цели. Но от этого они не становятся безвредными. Напротив, именно как гиперреальные события, которые уже не имеют конкретного содержания и собственных целей, но бесконечно преломляются друг в друге (точно так же, как так называемые исторические события: забастовки, демонстрации, кризисы, и т. д.). В этом смысле они неподвластны порядку, который может проявить себя лишь в реальном и рациональном, в причинах и следствиях; референтному порядку, который может властвовать лишь над референтным; детерминированной власти, которая может властвовать лишь над детерминированным миром, но ничего не может поделать с этой неопределенной повторяемостью симуляции, с этой туманностью в состоянии невесомости, которая больше не подчиняется законам гравитации реального. Сама власть заканчивается, разрушаясь в этом пространстве, и становится симуляцией власти (отделенной от своих целей и задач и обреченной на эффекты власти и массовую симуляцию). Единственное оружие власти, ее единственная стратегия против этого дефекта состоит в том, чтобы снова инъецировать повсюду реальное и референционное, убеждая нас в реальности социального, в значимости экономики и целесообразности производства. Для этого она пускает в ход преимущественно дискурс кризиса, но также — почему бы и нет? — дискурс желания. «Принимайте ваши желания за реальность» может пониматься как последний лозунг власти, поскольку в ирреферентном мире даже смешение принципа реальности и принципа желания менее опасно, чем заразительная гиперреальность. Мы оказываемся на границе между принципами, а в такой ситуации власть всегда права. Гиперреальность и симуляция — средства апотропии любого принципа и любой цели, и они оборачивают против власти средство апотропии, которым она так хорошо пользовалась в течение длительного времени. Ведь в конце концов, это капитал первым пожрал все, что связанно с референционным, все, что связанно с человеческим целеполаганием, это капитал разрушил все идеальные различия между истинным и ложным, между добром и злом, чтобы установить свой радикальный закон эквивалентности и обмена, неколебимый закон своего могущества. Капитал первым начал играть на апотропии, абстракции, разъединении, детерриторизации и т. д., и если это он создал реальность, принцип реальности, он также был тем, кто ликвидировал его через уничтожение всякой потребительской стоимости, всякой реальной эквивалентности производства и богатства, через само ощущение ирреальности цели и всесилия манипуляции. Так вот именно эта логика все более радикальнее выступает сегодня против капитала. И когда он хочет побороть эту катастрофическую спираль, испуская последний проблеск реальности, по которому можно установить последний проблеск власти, он лишь умножает ее знаки и ускоряет игру симуляции. Пока историческая угроза исходила для нее от реального, власть спекулировала апотропией и симуляцией, дезинтегрируя все противоречия с помощью производства эквивалентных знаков. Сегодня, когда угроза исходит для нее от симуляции (угроза исчезнуть в игре знаков), власть спекулирует реальным, кризисом, спекулирует переработкой искусственных социальных, экономических, политических целей. Для нее этот вопрос жизни или смерти. Однако уже слишком поздно. Отсюда характерная для нашего времени истерия производства и воспроизводства реального. Прочее производство — ценностей и товаров, золотой век политической экономии, уже давно не имеет значения. Все, к чему стремится, продолжая производить и перепроизводить, целое общество — это воскрешение ускользающего от него реального. И поэтому само «материальное» производство является на сегодняшний день гиперреальным. Оно сохраняет все черты, весь дискурс традиционного производства, однако является лишь слабым отражением его (так гиперреалисты фиксируют в иллюзорном сходстве реальное, из которого исчезли весь смысл и вся обворожительность, вся глубина и энергия репрезентации). Таким образом, гиперреализм симуляции повсюду выражается через иллюзорное сходство реального самому себе. Власть также уже давно вырабатывает лишь знаки своего подобия. И неожиданно разворачивается другой образ власти: образ коллективного требования символов власти — священный союз, создающийся вокруг ее исчезновения. Все страны, так или иначе, присоединяются к нему в ужасе от краха политического. В итоге уловка власти становится лишь опасной одержимостью власти — одержимостью своей смертью и ее преодолением, которая растет по мере того как власть исчезает. Когда она исчезнет окончательно, логически мы окажемся перед полной иллюзией власти — идеей-фикс, которая уже заметна всюду, и выражается одновременно в непреодолимом желании избавиться от нее (никто больше не желает власти, и каждый перекладывает ее бремя на кого-то другого) и в панической ностальгии от ее утраты. Меланхолия обществ без власти — именно она уже однажды спровоцировала фашизм, эту передозировку сильного референта в обществе, которое не может справиться со своей скорбью. С истощением политической сферы президент все больше уподобляется манекену власти, которым является вождь в первобытных обществах (Клястр). Все последующие президенты платили и продолжают платить за убийство Кеннеди, так, будто это они заказали его, — что соответствует истине если не в фактическом, то фантазматическом плане. Они должны искупить этот грех и это соучастие через свое симулированное убийство. Ведь последнее теперь только и может быть лишь симулированным. Президенты Джонсон и Форд оба были объектами неудачных покушений, которые если и не были инсценированы, то, по крайней мере, симулировались. Кеннеди погибли, потому что воплощали политическую власть, политическую субстанцию, тогда как все последующие президенты были лишь их карикатурой, поддельной пленкой; любопытно, что все они (Джонсон, Никсон, Форд) имели обезьяньи черты, — обезьяны власти. Смерть никогда не была абсолютным критерием, но в этом случае она показательна: эпоха Джеймса Дина, Мерлин Монро и Кеннеди, тех, кто реально умирали, потому что имели мифическое измерение, которое предполагает смерть (не из романтических побуждений, а как фундаментальный принцип реверсии и обмена), — эта эпоха давно закончилась. Настала эпоха убийства с помощью симулирования, всеобъемлющей эстетики симуляции, убийства-алиби — аллегорического воскрешения смерти, которая нужна лишь для того, чтобы санкционировать институт власти, не имеющей без этого ни субстанции, ни автономной реальности. Эти инсценировки покушений на президентов показательны, ибо сигнализируют о статусе всего негативного на Западе: политическая оппозиция, левые, критический дискурс и т. д. — это контрастный симулякр, при помощи которого власть старается разбить порочный круг своего небытия, своей фундаментальной безответственности, своей «текучести». Власть «плавает» подобно курсу валют, языковой стилистике, подобно теориям. Только критика и негативность еще производят призрак реальности власти. И если по той или иной причине они иссякнут, власти ничего другого не останется, как только искусственно их воскресить, галлюцинировать. Именно так смертные казни в Испании служат еще и стимулом для либеральной западной демократии, для агонизирующей системы демократических ценностей. Свежая кровь, но насколько ее еще хватит? Деградация всех видов власти неудержимо прогрессирует: и не столько «революционные силы» ускоряют этот процесс (скорее наоборот), сколько сама система подвергает свои собственные структуры насилию, уничтожая любую субстанцию, любую целесообразность. Не следует сопротивляться этому процессу, пытаясь противостоять системе и разрушать ее, потому что она, агонизируя от упразднения своей смерти, только этого от нас и ждет: что мы возвратим ей смерть, что мы реанимируем ее через отрицание. Конец революционной практики, конец диалектики. Любопытно, что Никсон, которого даже не посчитали достойным умереть от руки хоть какого-нибудь ничтожного случайного психа (и пусть, что возможно верно, президентов всегда убивают психи — это ничего не меняет: склонность левых выявлять в этом заговор правых, создает лишь ложную проблему — функцию умерщвления или провозглашения пророчества и т. д. против власти еще со времен первобытных обществ всегда осуществляли скудоумные, сумасшедшие или невротики, которые, тем не менее, выполняют социальную функцию столь же фундаментальную, как и любой президент), все же был ритуально казнен Уотергейтом. Уотергейт — это все еще средство для ритуального убийства власти (американский институт президентства намного увлекательнее в этом плане, чем европейские: он впитал в себя все насилие и превратности примитивных обществ, дикарских ритуалов). Но вот импичмент уже не является убийством: он осуществляется по Конституции. Никсон все-таки достиг того, о чем мечтает всякая власть: восприниматься достаточно серьезно, представлять для некой группы достаточную смертельную опасность, чтобы однажды быть смещенным, разоблаченным и устраненным. Форд уже не получает такого шанса: симулякр уже мертвой власти, он может лишь накапливать против себя знаки реверсии через убийство — от которого он был фактически иммунизирован своим бессилием, что приводило его в бешенство. В противоположность первоначальному обряду, который предусматривает официальную и жертвенную смерть короля (король или вождь — ничто без обещания своей жертвы), современное политическое воображаемое движется все дальше в направлении к тому, чтобы отсрочивать, как можно дольше скрывать смерть главы государства. Эта одержимость усилилась в эпоху революций и харизматических лидеров: Гитлер, Франко, Мао, не имея «законных» наследников для передачи власти, вынуждены были на неопределенное время пережить самих себя — народное мифотворчество не желает признавать их мертвыми. Так уже было с фараонами, которые, меняя друг друга, воплощали всегда одну и ту же личность. Все происходит так, будто Мао или Франко уже умирали много раз, а на смену им приходили их двойники. С политической точки зрения, абсолютно ничего не меняется от того, что глава государства остается тем же самым, или меняется другим, если они подобны друг другу. В любом случае, уже длительное время глава государства — безразлично кто именно — есть лишь симулякр самого себя, и это единственное, что наделяет его властью и правом повелевать. Никто не окажет ни наименьшего одобрения, ни наименьшей почтительности реальному лицу. Преданность направлена на копию, которая изначально уже мертва. Этот миф выражает лишь стойкую, и вместе с тем ложную потребность в жертвенной смерти короля. Мы все еще находимся в одной лодке: ни одно общество не знает, как правильно распрощаться с реальным, властью, самим социальным, которое также утрачено. И именно через искусственное оживление всего этого мы пытаемся избежать траурной церемонии. И такое положение дает несомненное преимущество социализму. Вследствие непредвиденного поворота событий и иронии, которая больше не является иронией истории, именно из смерти социального и появится социализм, как из смерти Бога возникают религии. Извращенное пришествие, искаженное событие, реверсия, которая не поддается рациональной логике. Фактически, власть существует сегодня, в общем, лишь для того, чтобы скрыть, что ее больше нет. Симуляция может продолжаться бесконечно, потому что, в отличие от «истинной» власти, которая является, или являлась определенной структурой, определенной стратегией, определенным соотношением сил, определенной целью, сегодняшняя власть — лишь предмет общественного спроса, и как объект закона спроса и предложения, она уже не является субъектом насилия и смерти. Полностью очищенная от политического измерения, она зависит, как любой другой товар, от массового производства и потребления. Не осталось даже проблеска власти, осталась одна только фикция политического универсума. То же самое происходит и с работой. Искра производства, неистовство его устремлений исчезло. Весь мир до сих пор производит, и все больше и больше, но незаметно работа стала чем-то иным: потребностью (как это гениально предполагал Маркс, но не в том смысле), предметом общественного «спроса», подобно досугу, которому она эквивалентна в повседневности. Спрос, прямо пропорциональный потере цели в рабочем процессе. Тот же неожиданный поворот, что и для власти: сценарий работы существует для того, чтобы скрыть, что реальная работа, реальное производство исчезло. Так же, как и реальная забастовка, которая больше не является прекращением работы, но ее альтернативным полюсом в ритуальном скандировании социального календаря. Все происходит так, будто после объявления забастовки каждый «занял» свое рабочее место и возобновил, как это положено в «самоуправляющейся» профессии, производство точно на тех же условиях, что и раньше, решительно заявляя, что он находится (и виртуально находясь) в состоянии перманентной забастовки. Это не научно-фантастическая мечта: мы всюду имеем дело с дублированием процесса работы. И с дублированием процесса забастовки — забастовки включенной в работу, как моральный износ предметов, как кризис перепроизводства. Итак, больше нет ни работы, ни забастовки, но есть и то и другое одновременно, а значит нечто иное: магия работы, одно лишь ее подобие, сценодрама (чтобы не сказать мелодрама) производства, коллективная драматургия на пустой сцене социального. Речь идет уже не об идеологии работы — традиционной этике, которая затенила бы «реальный» процесс работы и «объективный» процесс эксплуатации — но о сценарии работы. Так же как не об идеологии власти, но о сценарии власти. Идеология — лишь искажение реальности через знаки, симуляция — короткое замыкание реальности и ее дублирование знаками. Всегдашняя цель идеологического анализа — в восстановлении объективного процесса, его всегдашняя ложная проблема — в желании восстановить истину, которую скрывает симулякр. Вот почему власть, в сущности, так легко соглашается с идеологическими дискурсами и дискурсами по поводу идеологии, ведь это дискурсы истины, которые всегда полезны, даже, и особенно, если они революционны, в борьбе со смертельными ударам симуляции.

 Конец паноптизма

 Именно с этой идеологией «всеподнадзорности», эксгумированного реального в его фундаментальной банальности, в его радикальной аутентичности отчасти связан американский эксперимент реалити-шоу («телевидения-Истины»), проведенный в 1971 году над семьей Лаудов: семь месяцев непрерывной съемки, триста часов безостановочного вещания, без сценария и постановки, одиссея одной семьи, ее драмы, ее радости, неожиданные перипетии, нон-стопом — короче говоря, «сырой» исторический документ и «самое большое достижение телевидения, которое можно сравнить, в масштабе нашей повседневности, разве что с репортажем о высадке на Луну». Дело усложняется тем, что эта семья распадается во время съемок: разразился кризис, Лауды развелись и т. д. Отсюда неразрешимое противоречие: виновато ли в этом телевидение? Что бы произошло, если бы не это реалити-шоу? Однако иллюзия была бы более полной, если бы Лаудов снимали так, будто там не было телевидения. Триумф продюсеров состоял бы в том, чтобы сказать: «Они жили так, будто нас там не было». Абсурдная, парадоксальная формула — не истинная и не ложная: утопическая. «Так, будто нас там не было» равнялось бы «так, будто вы там были». Именно эта утопия, этот парадокс пленил двадцать миллионов телезрителей в значительно большей степени, чем «извращенное» удовольствие от вмешательства в частную жизнь. В этом «реальном» эксперименте речь идет ни о тайне, ни об извращении, но о своего рода вибрации реального или эстетике гиперреального, вибрации от головокружительной и фальшивой точности, вибрации от одновременного отдаления и увеличения, от искажения масштаба, от чрезмерной прозрачности. Удовольствие от избыточного смысла, когда уровень знака опускается ниже ватерлинии смысла: незначительное увеличивается благодаря ракурсу съемки. Каждый видит то, чего никогда не было (но «как если бы вы там были»), без расстояния, которое дает пространство перспективы и глубину восприятия (но «более реальное, чем природа»). Удовольствие от микроскопической симуляции, которая превращает реальное в гиперреальное. (Так же происходит с порно, которое захватывает больше на метафизическом, чем на сексуальном уровне.) Впрочем, эта семья уже была гиперреальной по своей природе, почему ее и выбрали: типично идеальная американская семья, дом в Калифорнии, три гаража, пятеро детей, надежный социальный и профессиональный статус, декоративная жена-домохозяйка, уровень жизни выше среднего. В определенной степени именно это статистическое совершенство и обрекает ее на смерть. Идеальные герои американского образа жизни, они избираются, как и при древних жертвоприношениях, для того, чтобы быть прославленными и умереть в пламени массмедиа, которые играют роль современного фатума. Поскольку небесный огонь больше не поражает падшие города, их карает объектив камеры, который, будто лазер, пронзает житейскую реальность. «Лауды — просто семья, которая согласилась принести себя в жертву телевидению и умереть», — скажет постановщик. Итак, речь идет о жертвенном процессе, о жертвенном зрелище, предложенном двадцати миллионам американцев. Литургическая драма массового общества. «Телевидение-Истина». Замечательный в своей двусмысленности термин — речь идет об истине этой семьи или об истине телевидения? Фактически, телевидение, явившее истину Лаудов, явило истину самого телевидения. Истину, которая больше не является ни истиной отражения в зеркале, ни перспективой истины паноптической системы, но манипуляционной истиной теста, который зондирует и опрашивает, лазера, который нащупывает и вырезает, матриц, которые сохраняют ваши перфокарты, генетического кода, который управляет вашими комбинациями генов, нервных клеток, которые управляют сенсорикой. Именно этой истине подвергло телевидение семью Лаудов и в этом смысле вынесло ей смертный приговор (но об истине ли еще речь?). Конец паноптической системы. Телевизионный глаз больше не является источником абсолютного наблюдения, и идеалом контроля больше не является идеальная прозрачность. Последняя еще предполагает существование объективного пространства (пространства Ренессанса) и всемогущество деспотического надзора. Это все еще, если не система заключения, то, по крайней мере, система наблюдения по секторам. Более утонченная, однако все еще внешняя по своему характеру, построенная на оппозиции «наблюдать» и «быть под наблюдением», даже если объект наблюдения вне поля зрения. Кое-что еще относительно Лаудов. «Вы больше не смотрите телевидение, это телевидение смотрит вас (Live)», или еще: «Вы больше не слушаете «Без паники!», это «Без паники!» слушает вас», — поворот от паноптической системы (см. «Надзор и наказание» Фуко) к системе апотропии, в которой отменено различие между пассивным и активным. Больше нет императива подчинения модели или мнению. «Вы — модель!» «Большинство — это вы!» Таков водораздел гиперреальной социальности, в которой реальное перепутано с моделью, как в статистической выкладке, или с массмедиа, как в случае с семьей Лаудов. Такова следующая стадия социальной взаимосвязи, наша стадия, которая уже больше не является стадией убеждения (классической эрой пропаганды, идеологии, рекламы и т. п.), а стадией разубеждения: «Вы — информация, вы — социальное, вы — событие, это касается вас, слово вам» и т. д. Переворот с ног на голову, благодаря которому становится невозможной локализация инстанции модели, власти, мнения, самих медиа, потому что вы всегда оказываетесь по ту сторону. Больше не существует ни субъекта, ни точки фокусирования, ни центра или периферии: чистая флексия или замкнутая инфлексия. Больше не существует ни насилия, ни надзора — одна лишь «информация», скрытая вирулентность, цепная реакция, медленная имплозия и пространственные симулякры, в которых еще имеет место эффект реального. Мы свидетели конца перспективного и паноптического пространства (которое еще остается моральной гипотезой, согласующейся со всеми попытками классического анализа «объективной» сущности власти), и, таким образом, самой отмены зрелищного. Телевидение, как, например, в случае с Лаудами, больше не является зрелищным. Мы больше не находимся в обществе спектакля, о котором говорили ситуационисты, ни в разновидности специфического отчуждения и специфического подавления, которые оно предусматривало. Сами средства коммуникации больше не идентифицируются как таковые, и смешение медиа с сообщением (Маклюэн) является первой важной формулой этой новой эпохи. Медиа-средств в буквальном смысле больше не существует: теперь они не осязаемы, рассеяны и дифрагированы в реальном, и уже нельзя даже сказать, что испытывают какое-либо его влияние. Такое смешение, такое вирусное, эндемическое, хроническое, паническое присутствие медиа, когда становится невозможно выделить их воздействие, — медиа, призрачных, как рекламные лазерные скульптуры в пустом пространстве события, профильтрованного СМИ. Растворение телевидения в жизни, растворение жизни в телевидении — гомогенный химический раствор: мы все Лауды, обреченные не на вторжение, не на давление, не на насилие и шантаж со стороны СМИ и моделей, но на их индукцию, их инфильтрацию, их незаметное изнасилование. Однако нужно остерегаться негативного направления, навязанного дискурсом: речь идет ни о болезни, ни о вирусной инфекции. О СМИ следует думать лучше так, будто они находятся на внешней орбите и являются разновидностью генетического кода, который управляет мутацией реального в гиперреальное, так же, как другой микромолекулярный код управляет переходом от репрезентативной сферы смысла к сфере генетически запрограммированного знака. Под сомнение ставится весь традиционный мир каузальности: метод перспективный и детерминистский, «активный» и критический, метод аналитический — различие между причиной и следствием, между активным и пассивным, между субъектом и объектом, между целью и средствами. Именно исходя из этого можно сказать: телевидение наблюдает за нами, телевидение отчуждает нас, телевидение манипулирует нами, телевидение информирует нас… Мы остаемся во всем этом заложниками аналитической концепции СМИ, концепции активного и эффективного внешнего агента, концепции «перспективной'» информации, в которой точкой схода является горизонт реального и смысла. Итак, телевидение нужно представлять себе по аналогии с ДНК, как следствие, в котором исчезают противоположные полюса детерминации, согласно сокращению, ядерной ретракции старой полярной схемы, которая всегда сохраняла минимальную дистанцию между причиной и следствием, между субъектом и объектом, — а именно дистанцию смысла, промежуток, различие, наименьший возможный промежуток (PPEP!), который невозможно сократить под страхом поглощения алеаторным и недетерминированным процессом, о котором дискурс не может даже дать представления, потому что сам принадлежит к детерминированному порядку. Именно этот промежуток исчезает в процессе генетического кодирования, неопределенность которого является не столько неопределенностью случайной игры молекул, сколько неопределенностью полнейшей отмены соотношений. В процессе молекулярного управления, «исходящего» от ядра ДНК к «субстанции», которую он «информирует», уже нет места для развертывания следствия, энергии, детерминации, сообщения. «Команда, сигнал, импульс, сообщение», — все это попытки сделать вещь понятной для нас, но по аналогии, с использованием таких терминов, как формула, вектор, декодирование для транскрибирования измерения, о котором мы ничего не знаем, — это уже даже не «измерение», или, возможно, именно то, что является четвертым измерением (оно определяется, кстати, в теории относительности как поглощение различных полюсов пространства и времени). Но, фактически, весь этот процесс может быть понят только в отрицательной форме: больше ничто не отделяет один полюс от другого, начальное от конечного, происходит что-то вроде их взаимной контракции, некое фантастическое столкновение, обрушение друг в друга двух традиционных полюсов: имплозия — поглощение исходящего метода причинности, дифференциального метода детерминированности с его положительным и отрицательным зарядом — имплозия смысла. Именно здесь берет свое начало симуляция. Повсюду, во всех сферах — в политике, биологии, психологии, массмедиа, где больше невозможно сохранить различие между этими двумя полюсами, мы попадаем в симуляцию, и, следовательно, в абсолютную манипуляцию — не в пассивность, а в нераздельность активного и пассивного. ДНК реализует эту алеаторную редукцию на уровне живой субстанции. Телевидение в случае с Лаудами также достигает этого предела неопределенности, когда люди не в большей или меньшей степени активны или пассивны относительно телевидения, чем некая живая субстанция относительно своего молекулярного кода. И тут и там — та самая туманность, которая не поддается расшифровке ни на уровне своих простых элементов, ни на уровне своей истины.

 Орбитальное и ядерное

 Апофеоз симуляции — ядерная угроза. Однако «равновесие страха» всегда только зрелищный аспект системы апотропии, которая проникла во все поры повседневной жизни. Напряженное ожидание ядерной катастрофы лишь подкрепляет тривиальную систему апотропии, которая лежит в основе СМИ, безнаказанного насилия, царящего повсюду в мире, в основе алеаторного механизма всех предложенных нам выборов, которые делаются за нас. Даже самые незначительные наши поступки регулируются нейтрализованными, индифферентными, эквивалентными знаками, сумма которых равна нулю, теми же знаками, которые управляют «стратегическими играми» (но истинное уравнение кроется в другом, и неизвестное в нем — это как раз та переменная симуляции, которая превращает сам атомный арсенал в форму гиперреального, в симулякр, господствующий над нами всеми и сводящий все «наземные» события лишь к неким эфемерным сценариям, трансформируя оставленную нам жизнь в выживание, в цель без цели — даже не в полис страхования жизни: в полис, уже давно просроченный). Это не прямая угроза атомного уничтожения парализует наши жизни — это апотропия обескровливает нас. И апотропия эта исходит из того, что даже само реальное атомное столкновение исключается — исключается заведомо, как возможность реального в системе знаков. Все делают вид, будто верят в реальность этой угрозы (особенно военные, ведь речь идет не только обо всей важности их профессии, но и об их «стратегическом» дискурсе), и как раз на этом уровне стратегические цели отсутствуют, и вся оригинальность ситуации заключается в невероятности уничтожения. Апотропия исключает возможность войны — архаического насилия расширяющихся систем. Апотропия же является нейтральным, имплозивным насилием метастабильных систем или систем в состоянии инволюции. Нет больше ни субъекта устрашения, ни противника, ни стратегии, есть лишь планетарная структура уничтожения целей. Атомная война, как и Троянская, не состоится. Риск ядерного уничтожения служит лишь поводом для того, чтобы путем усовершенствования военной техники (но это усовершенствование настолько чрезмерно по сравнению с любой целью, что она сама становится ничтожной) ввести всеобъемлющую систему безопасности, ограничения и контроля, упреждающий эффект которого направлен вовсе не на предотвращение атомного столкновения (которое никогда и не было реальной проблемой, за исключением, конечно, самой начальной стадии «холодной войны», когда ядерную систему еще путали с традиционной войной), а на предупреждение намного более возможных реальных событий, всего того, что могло бы стать событием в общей системе и тем самым нарушить ее равновесие. Равновесие страха — это страх равновесия. Апотропия — не стратегия, она циркулирует и выступает предметом обмена между ядерными протагонистами точно так же, как международный капитал в орбитальной зоне валютных спекуляций, колебаний которой достаточно для того, чтобы контролировать всю мировую торговлю. Так вот валюты уничтожения (не связанной с реальным уничтожением, по крайней мере, не больше, чем краткосрочные спекулятивные капиталы связаны с реальным производством), циркулирующей на ядерной орбите, достаточно для того, чтобы контролировать все насилие и все потенциальные конфликты земного шара. В тени этого арсенала, под предлогом серьезнейшей «объективной» угрозы и благодаря этому ядерному дамоклову мечу, затевается мощнейшая система контроля, которая когда-либо существовала, и постепенная сателлитизация всей планеты с помощью этой гипермодели безопасности. То же самое касается и мирных атомных электростанций. Умиротворение не делает различия между гражданским и военным: везде, где разрабатывают необратимые средства контроля, везде, где понятие безопасности становится всесильным, везде, где норма безопасности заменяет старый арсенал законов и насилия (включая и войну), растет эта система апотропии, а вокруг неё растёт историческая, социальная и политическая пустыня. Гигантская инволюция заставляет сжаться все конфликты, все цели, все противостояния пропорционально этому шантажу, который перерывает, нейтрализует, замораживает их всех. Никакой бунт, никакая история не могут больше разворачиваться согласно своей собственной логике, потому что в этом есть риск уничтожения. Никакая стратегия больше невозможна, и любая эскалация — только детская игра, оставленная для военных. Политическая цель мертва, остаются одни только симулякры конфликтов и тщательно очерченных целей. «Космическая гонка» сыграла точно такую же роль, что и ядерная эскалация. Вот почему космонавтика так легко смогла сменить ее в 60-е годы (Кеннеди / Хрущёв) и развиваться параллельно в виде «мирного сосуществования». Ведь в чем, в конечном счете, заключается решающая функция космической гонки, покорения Луны, запуска спутников, если не во внедрении модели всемирного тяготения, сателлитизации, совершенным зародышем которой выступает лунный модуль: программируемый микрокосм, в котором ничто не может быть оставлено на волю случая? Траектория, энергия, расчеты, физиология, психология, окружающая среда — ничто не может быть оставлено на волю случайных обстоятельств, перед нами всеобъемлющий мир нормы — в нем больше не существует Закона, а его сила перешла к операционной имманентности всей совокупности деталей. Мир, очищенный от всякой угрозы смысла, асептический и невесомый — именно это совершенство завораживает. Экзальтацию толп вызвал не факт высадки на Луну или запуск человека в космос (это, скорее, воплощение предыдущей мечты), нет, мы ошеломлены совершенством программирования и технического манипулирования, имманентным чудом запрограммированного развития событий. Завораживание от максимальной нормы и овладения вероятностью. Головокружение от модели, которая соединяется с моделью смерти, но без страха или неизвестности. Ведь если закон, с его аурой нарушения, порядок, с его аурой насилия, еще выявляют искаженное воображаемое, то норма фиксирует, завораживает, впечатляет и делает все воображаемое эвольвентным. Никто больше не замечает деталей программы. Просто ее просмотр вызывает головокружение. Головокружение от мира без изъянов. Та же модель программированной неизбежности, максимальной безопасности и апотропии сегодня регулирует и социальное пространство. В этом и заключаются истинные следствия ядерной угрозы: тщательное управление технологией служит моделью для тщательного управления социальным. И здесь также ничто больше не остается на волю случая. Более того, в этом и есть суть социализации, которая началась сотни лет тому назад, но сейчас вошла в фазу своего ускоренного развития, приблизившись к границе, которую считали эксплозивной (революция), и которая в данный момент выражается через противоположный процесс, имплозивный и необратимый: всеобъемлющая апотропия от любой случайности, от любой неприятности, от любой трансверсальности, от любой окончательности, от любого противоречия, разрыва или социального осложнения, освященное нормой, обреченное на дескриптивную прозрачность механизмов информации. На самом деле космическая и ядерная модели лишены собственных целей: таковыми не являются ни освоение Луны, ни военно-стратегическое превосходство. Их истина — быть моделями симуляции, образцовыми векторами системы планетарного контроля (даже сверхдержавы не свободны от этого сценария — весь мир сателлитизирован). Налицо противоречие: в процессе подчинения тот, кто стал сателлитом, не является тем, кем его считают. Вследствие орбитальной вписанности космического объекта в сателлит превращается сама планета Земля, и земной принцип реальности становится эксцентричным, гиперреальным и малозначительным. Вследствие орбитальной реализации системы контроля, такой, как мирное сосуществование, в сателлиты превращаются все земные микросистемы, которые теряют при этом свою самостоятельность. Вся энергия, все события поглощаются этой эксцентричной гравитацией, все конденсируется и интегрируется в единой микромодели контроля (орбитального сателлита), как в другом примере, биологическом измерении, все конвертируется и интегрируется в молекулярную микромодель генетического кода. В ходе этих двух процессов, в этом разветвлении ядерного и генетического, в одновременном действии обоих фундаментальных кодов апотропии, поглощается всякий принцип смысла, и никакое развертывание реального становится невозможным. Яркой иллюстрацией этого была одновременность двух событий в июле 1975 года: стыковка в космосе двух суперспутников, американского и советского, апофеоз мирного сосуществования, и постановление китайцев об отказе от идеограмматического письма в пользу латинского алфавита. Последнее означало «орбитальную» инстанциализацию абстрактной и смоделированной системы знаков, в орбите которой подвергаются резорбции все уникальные когда-то формы стиля и письма. Сателлитизация языка: для китайцев это способ войти в систему мирного сосуществования, который был им предначертан в виде стыковки двух спутников. Орбитальный полет «Большой двойки» — способ нейтрализации и гомогенизации всех тех, кто остался на земле. И все же, несмотря на мощь этой орбитальной апотропии — апотропии ядерного кода или кода молекулярного, — наземные события продолжают происходить, и неожиданные повороты становятся все более многочисленными, учитывая мировой процесс глобализации и синхронизации информации. Хотя это трудно уловить, но они больше не имеют смысла и становятся лишь дуплексным отражением симуляции на высшем уровне. Лучшего примера, чем война во Вьетнаме, не найти, ведь она происходила в точке пересечения самой большой исторической и «революционной» цели и процесса внедрения этой инстанции апотропии. Какое значение имела эта война, и не явилась ли она той решающей и кульминационной точкой нашей эпохи, после которой стал очевиден конец истории? Почему эта война, такая тяжелая, такая длинная, такая жестокая, рассеивается день за днем, словно по мановению волшебной палочки? Почему это американское поражение (самая большая неудача в истории США) не имело никаких внутренних последствий в Америке? Если бы оно действительно означало поражение планетарной стратегии Соединенных Штатов, оно непременно нарушило бы внутреннее равновесие и перевернуло бы американскую политическую систему. Ничего подобного не произошло. Произошло, следовательно, другое. По сути, эта война была лишь решающим эпизодом мирного сосуществования. Она ознаменовала присоединение Китая к мирному сосуществованию. Невмешательство Китая, достигнутое и конкретизированное после многолетнего изучения им мирового modus vivendi, переход от стратегии мировой революции к стратегии разделения сфер влияния, отход от радикальной альтернативы в пользу изменений в политической системе, которая теперь в основном налажена (нормализация отношений Пекин — Вашингтон), — именно в этом заключалась цель вьетнамской войны, и в этом смысле США хоть и ушли из Вьетнама, но выиграли войну. И война «спонтанно» прекратилась, когда эта цель была достигнута. Вот почему она была свернута, остановлена с такой легкостью. Подобную редукцию сил можно заметить и в самом Вьетнаме. Война продолжалась до тех пор, пока не были ликвидированы непримиримые элементы, несовместимые со здоровой политикой и дисциплиной власти, пусть даже коммунистической. Когда, наконец, инициатива перешла к регулярным частям Севера и выскользнула из рук сопротивления, война могла прекращаться: она достигла своей цели. Цель, таким образом, состояла в организованном политическом изменении. Как только вьетнамцы доказали, что они больше не носители непредсказуемой субверсии, стало возможным оставить их в покое. То, что порядок остался коммунистическим, в сущности, не важно: он зарекомендовал себя, поэтому ему можно доверять. Он даже эффективнее капитализма в ликвидации «диких» и архаических докапиталистических структур. По тому самому сценарию проходила и войны в Алжире. Другой аспект этой войны и любой войны отныне: за вооруженным насилием, за смертельным антагонизмом противников, который представляется делом жизни и смерти, и разыгрывается как таковой (иначе никогда не удалось бы посылать людей на гибель в подобных конфликтах), за этим симуляром смертельной борьбы и бесчеловечной глобальной цели, обоих противников объединяет фундаментальная солидарность против другой вещи, неназванной и необсуждаемой, но полная ликвидация которой, при равном соучастии обоих противников, является объективным результатом войны: племенные, общинные, докапиталистические структуры, все формы обмена, языки, организации символического — именно это нужно уничтожить, ликвидация всего этого является целью войны, — и последняя, со своим исполинским зрелищным арсеналом смерти, является лишь средством этого процесса террористической рационализации социального, — ликвидация, в результате которой сможет установиться социальное бытие, неважно какого направления, коммунистического или капиталистического. Полное соучастие, или разделение труда между двумя противниками (которые могут даже пойти ради этого на огромные жертвы), с той же целью перестройки и приручения социальных отношений. «Северному Вьетнаму было рекомендовано согласиться на сценарий ликвидации американского присутствия, во время реализации которого, конечно, необходимо сохранить лицо». Этот сценарий: крайне жестокие бомбардировки Ханоя. Их необоснованный характер не должен скрывать, что они были лишь симулякром, который давал возможность вьетнамцам делать вид, будто они соглашаются на компромисс, а Никсону — заставить американцев проглотить вывод своих войск. Игра была сделана, и на карте стояло лишь правдоподобие финальной сцены. Пусть это не обескураживает моралистов от войны, носителей высокой военной доблести: война не становится менее жестокой от того, что она только симулякр, на ней человек еще испытывает настоящие телесные страдания, и ее жертвы и ветераны с лихвой достойны жертв и ветеранов других войн. Эта задача всегда успешно выполняется, так же как задачи разделения территории и наведения общественного порядка. Чего больше нет, так это суровости противников, реальности антагонистических причин, идеологической серьезности войны. А также реальности победы или поражения, поскольку война превратилась в процесс, который торжествует далеко за пределами своих внешних проявлений. В любом случае, умиротворение (или апотропия), которое доминирует сегодня, находится за пределами войны и мира и его суть в том, что и война и мир беспрерывно эквивалентны. «Война — это мир», — сказал Оруэлл. И в этом также два дифференциальных полюса имплозируют друг в друга или рециркулируют друг друга — синхронизация противоположностей, которая является одновременно пародией и концом любой диалектики. Таким образом, можно полностью пропустить истину войны, а именно то, что она закончилась задолго до своего начала, войне был положен конец в самом разжигании войны, что она, возможно, никогда не начиналась. Многие другие события (нефтяной кризис и т. д.) никогда не начинались, никогда не существовали, разве что как искусственные перипетии, — абстракции, эрзацы и артефакты истории, катастроф и кризисов, предназначенные для того, чтобы удерживать под гипнозом историческую инвестицию. Все СМИ и официальные источники задействованы только для того, чтобы поддержать иллюзию подлинности, реальности целей, объективности фактов. Все события следует читать в обратном направлении, или же становится заметно (ретроспектива коммунистов «во власти» в Италии, посмертное повторное «открытие» ГУЛАГа и советских диссидентов, так же как недавнее открытие умирающей этнологией утраченного «различия» дикарей), что все эти вещи случаются слишком поздно, в истории, которая запаздывает, в спирали, которая запаздывает, что они уже давно исчерпали свой смысл и живут только благодаря искусственному возбуждению знаков, что все эти события сменяют друг друга без логической связи, в тотальной эквивалентности самых спорных из них, в глубоком равнодушии к своим следствиям (а они их больше и не имеют, потому что исчерпывают свои силы в зрелищном промоушне), — все кадры «кинохроники» производят мрачное впечатление китча, ретро и порно одновременно — несомненно, все знают об этом, и никто не воспринимает их всерьез. Реальность симуляции невыносима — более жестока, нежели «театр жестокости» Арто, который был все еще попыткой создать драматургию жизни, последним вздохом идеальности тела, крови, насилия в системе, которая уже изгоняла все это прочь, бескровно поглощая все цели. И трюк удался. Любая драматургия, а также любой реальный стиль жестокости исчезли. Роль хозяйки принадлежит симуляции, и нам осталось право только на ретро, на фантом, на пародийную реабилитацию всех утраченных референций. Все по-прежнему разворачивается вокруг нас, в холодном свете апотропии (включая Арто, который имеет право, как и остальные, на свое возрождение, на повторное существование в качестве референции жестокости). Вот почему распространение ядерного оружия не увеличивает риск атомного столкновения или катастрофы — за исключением промежутка, в котором «молодые» государства могут ощутить соблазн использовать его не с целью устрашения, а с «реальной» целью (как это сделали американцы в Хиросиме — но, в самом деле, только они и имели право на использование этой «потребительской стоимости» бомбы, и всех тех, кто получит доступ к ней в дальнейшем, будет удерживать от использования бомбы сам факт обладания ею). Вступление в ядерный клуб, так красиво названный, очень быстро отбивает (так же как вступление в профсоюз в трудовой сфере) любую охоту к силовому вмешательству. Ответственность, контроль, цензура, самосдерживание растут всегда быстрее, чем вооруженные силы или средства вооружения, которые находятся в нашем распоряжении: таков секрет общественного порядка. Так, даже сама возможность парализовать всю страну одним движением рубильника вниз гарантирует, что электроэнергетики никогда ей не воспользуются: весь миф об общей и революционной забастовке рушится в тот самый момент, когда появляется возможность для ее проведения — и именно потому, что появляется возможность для ее проведения. В этом весь процесс апотропии. Поэтому вполне вероятно, что однажды мы станем свидетелями того, как ядерные державы будут экспортировать атомные реакторы, оружие и бомбы по всей планете. На смену контроля путем угрозы придет намного более эффективная стратегия умиротворения посредством бомбы и через владение бомбой. «Малые» государства, полагая, что они приобрели независимую ударную силу, приобретут вирус апотропии, своего собственного сдерживания. То же относительно и атомных реакторов, которые мы им уже поставляем: множество нейтронных бомб, которые нейтрализуют всякую историческую вирулентность, всякий риск взрыва. В этом смысле ядерное повсюду начинает ускоренный процесс имплозии, которая замораживает все вокруг себя и поглощает всю живую энергию. Ядерное — одновременно кульминация доступности энергии и максимизация систем контроля всякой энергии. Строгая изоляция и контроль возрастают прямо пропорционально (и, несомненно, даже быстрее) по отношению к возможности раскрепощения. Это уже было апорией модернистской революции. Теперь это абсолютный парадокс ядерного. Энергии нейтрализуются своей собственной мощью, они сдерживают сами себя. Трудно даже представить, что за проект, что за власть, что за стратегия, что за объекты могут существовать вне этой инклюзии, этого огромного насыщения системы своими собственными силами, отныне нейтрализованными, неиспользуемыми, непонятными, невзрывными, — за исключением взрыва, направленного внутрь, имплозии, когда все эти энергии уничтожатся в катастрофическом процессе (в буквальном смысле, то есть в значении реверсии всего цикла к самой низкой точке, реверсии энергии к минимальному порогу).

 ИСТОРИЯ КАК РЕТРОСЦЕНАРИЙ

 В период насильственной и реальной истории (скажем, между двумя мировыми войнами и в период «холодной войны») миф завоевывает кинематограф, как его воображаемое содержание. Это золотой век масштабного воскрешения деспотического и легендарного. Миф, изгнанный из реального насилием истории, находит убежище на киноэкране. Сегодня уже сама история завоевывает кинематограф по тому же сценарию, — историческая цель вытеснена из нашей жизни с помощью этой разновидности гигантской нейтрализации, получившей название мирного сосуществования в мировом масштабе, и умиротворенной монотонности в масштабе повседневности, — эта история, изгнанная обществом в состоянии медленного или внезапного замерзания, убедительно празднует свое воскрешение на экранах, в соответствии с тем же процессом, который заставлял оживать на них утраченные мифы. История — это наш утраченный референт, то есть наш миф. Именно поэтому она приходит на смену мифам на киноэкране. Было бы иллюзией радоваться этому «осознанию истории кинематографом», подобно тому, как радовались «поступлению политики в университет». То же недоразумение, та же мистификация. Политика, которая поступает в университет, вылетает из истории, это ретрополитика, лишенная своей субстанции и легализованная в своем поверхностном исполнении, площадка для игр и поле для авантюр, эта политика подобна сексуальности или непрерывному образованию (или социальной защите в свое время): то есть она либерализована посмертно. Основным событием этого периода, его большой травмой является эта агония мощных референций, агония реального и рационального, которая открывает путь к эре симуляции. В то время как столько поколений, и особенно последнее, жило в такт с историей, в ожидании, эйфорическом или катастрофическом, революции, — сегодня складывается впечатление, что история отошла от дел, оставив после себя индифферентную туманность, пронизанную потоками, но лишенную своих референций. Именно в этой пустоте снова настигают фантомы прошлого, коллекция из событий, идеологий, течений моды в стиле ретро — в основном не потому, что люди верят в это или еще строят на этом свои надежды, а просто для того, чтобы воскресить время, когда, по крайней мере, еще была история, по крайней мере, еще было насилие (пусть даже фашистское) когда, по крайней мере на кону стояло: жизнь или смерть. Все годится, лишь бы избежать этой пустоты, этого малокровия истории и политики, этого кровотечения ценностей, — именно пропорционально этой тоске вспоминают вперемешку все содержания, смыслы, беспорядочно воскрешают всю предыдущую истории — ни одна идея не проходит больше квалификационного отбора, одна лишь ностальгия накапливается без конца: война, фашизм, летописи замечательных времен или революционные движения, все равнозначно и без разбора смешивается в одном мрачном и похоронном возвеличивании, в одном очаровании ретро. Впрочем, существует одна привилегия для эпохи, которая только что кончилась (фашизм, война, первые послевоенные годы — бесчисленные фильмы, которые снимаются в настоящее время на эти темы, имеют для нас более близкий, более порочный, более густой, более тревожный аромат). Это можно объяснить, вспомнив фрейдистскую теорию фетишизма (гипотеза, возможно, также принадлежащая к категории ретро). Эта травма (потеря референтов) подобна открытию ребенком различия между полами, она так же серьезна, так же глубока, так же необратима: фетишизация предмета появляется, чтобы затенить это невыносимое открытие, но дело именно в том, говорит Фрейд, что этот предмет не является любым предметом, часто это последний предмет, бегло замеченный перед травмирующим открытием. Поэтому фетишизирована история будет преимущественно тем, что непосредственно предшествует нашей «безреферентной» эпохе. Вот откуда вездесущность фашизма и войны в ретро — совпадение, но политика здесь ни при чем, наивно же выводить из вспоминания о фашизме современное его возвращение (именно потому, что мы больше не живем при нем, потому что мы живем в чем-то другом, еще менее веселом, именно поэтому фашизм может снова приобрести чары своей жестокости, профильтрованной эстетическими средствами ретро). Вот так история с триумфом входит в кинематограф после своей смерти (термин «исторический» подвергся такой же участи: «исторический» момент, «исторический» памятник, «исторический» съезд, «историческое» фигура — уже этим самым обозначаются как окаменелости). Ее реинвестирование не имеет значения, это лишь ностальгия по утраченной референции. Это не значит, что история никогда не появлялась в кинематографе как великая эпоха, как актуальный процесс, как восстание, а не только как воскрешение из мертвых. В «реальном», как и в кинематографе, история присутствовала, но ее больше нет. История, которую нам сегодня «возвратили» (именно так, ведь она была у нас отобрана), связана с «историческим реальным» не больше, чем современная живопись связана с классическим изображением реального. Новый способ изображения представляет собой взывание к похожести, но в то же время и явное подтверждение исчезновения объектов в самом их представлении: гиперреальное. Предметы здесь, в некотором роде, блещут гиперподобием (как история в современном кино), что делает их ни на что не похожими, разве что на пустой образ подобия, на пустую форму представления. Это не вопрос жизни или смерти: эти предметы уже ни живые, ни мертвые. Вот почему они такие точные, такие тщательные, незыблемые, в таком состоянии, будто их внезапно захватил процесс потери реального. Все эти исторические (и не только) фильмы, само совершенство которых беспокоит: «Китайский квартал», «Три дня Кондора», «Барри Линдон», «1900 год», «Вся президентская рать» и т. д. Складывается впечатление, что мы имеем дело скорее с совершенными ремейками, с экстраординарным монтажом, что является частью скорее комбинаторной (или мозаичной, по Маклюэну) культуры, с какими-то гигантскими машинами фото-, кино-, историосинтеза и т. д., чем с настоящими фильмами. Условимся: мы не касаемся их качества. Проблема заключается скорее в том, что они оставляют нас в какой-то степени совершенно равнодушными. Возьмите «Последний киносеанс»: надо быть настолько невнимательным, как я, чтобы воспринять его как оригинальную продукцию 50-х годов — очень хороший фильм, который изображает нравы и атмосферу маленького американского городка. Лишь одно легкое подозрение: он был как-то уж слишком хорош, точен, лучше других, без психологических, моральных и сентиментальных недостатков, характерных для фильмов той эпохи. И ошеломление, когда становится известно, что это фильм 70-х, полное ретро, очищенное и безупречное, что это гиперреальное воскрешение фильмов 50-х годов. Идут разговоры о пересъемке немых фильмов, которые, без сомнения, также будут лучше, чем фильмы той эпохи. Возникает целая генерация фильмов, которые будут по отношению к прежним фильмам, тем же, что и андроид по отношению к человеку: замечательными артефактами, лишенными недостатков, гениальными симулякрами, которым недостает лишь воображаемого и той характерной иллюзии, без которой нет кинематографа. Большинство из тех фильмов, которые мы смотрим сегодня (лучшие), уже принадлежат к этому порядку. Лучшим примером их является «Барри Линдон»: еще никто не добивался подобного успеха и не добьется подобного успеха в… в чем? Это даже не воскрешение в памяти, перед нами симуляция. Вся токсичная радиация отфильтрована, все ингредиенты на месте, строго дозированы, ни одной ошибки. Крутое, холодное удовлетворение, даже не эстетическое в строгом смысле: удовлетворение функциональное, удовлетворение эквациональное, удовлетворение от удачной комбинации. Стоит вспомнить лишь о Висконти («Гепард», «Я чувствую» и другие фильмы, которые некоторыми аспектами напоминают «Барри Линдона»), чтобы понять разницу не только в стиле, но и в кинематографическом действе. В Висконти есть смысл, история, чувственная риторика, паузы, увлекательная игра, и не только с историческим содержанием, но и с постановкой. Ничего подобного нет у Кубрика, который манипулирует своим фильмом как гроссмейстер, превращая историю в операционный сценарий. И это не имеет ничего общего со старой оппозицией духа изящного и духа геометрического: эта оппозиция еще является частью игры и частью ставки на смысл. Мы же входим в эру фильмов, которые сами по себе уже не имеют смысла, в эру мощных синтезирующих машин с изменяемой геометрией. Кое-что из этого уже было в вестернах Леоне? Возможно. Все регистры медленно соскальзывают в этом направлении. «Китайский квартал» — это детектив, стилистически переработанный с помощью лазерной техники. Это не совсем вопрос совершенства: техническое совершенство может быть составляющей смысла, и в таком случае оно не принадлежит ни ретро, ни гиперреализму, тогда оно — один из эффектов искусства. В нашем случае техническое совершенство является эффектом модели: это — одна из тактических референциальных ценностей. При отсутствии реального синтаксиса смысла, нам доступны лишь тактические ценности одного какого-то комплекса, в котором прекрасно сочетаются, скажем, ЦРУ как способная на все мифологическая машина, Роберт Редфорд как разносторонняя звезда, общественные отношения как референция, которая обязана своим существованием истории, техническая виртуозность, которая обязана своим существованием кинематографу. Кинематограф и траектория его развития: от наиболее фантастического или мифического к реалистическому и гиперреалистическому. В своих сегодняшних усилиях кинематограф все больше и все с большим совершенством приближается к абсолютной реальности, в своей банальности, в своем правдоподобии, в своей обнаженной очевидности, в своей скуке и вместе с тем в своей заносчивости, претендуя на то, чтобы быть реальным, сиюминутным, повседневным, — а это самая безумная из всех затей (так, претензия функционализма на то, чтобы обозначать — конструировать — высшую степень объекта в его сходности со своей функцией, со своей потребительской стоимостью, является совершенно абсурдным занятием). Ни одна культура не рассматривала символы столь наивно, параноидально, пуритански и террористично, как кино с его нынешними устремлениями. Терроризм — это всегда терроризм реального. Одновременно в этом стремлении к абсолютному совпадению с реальным, кино приближается также к абсолютному совпадению с самим собой — и в этом нет противоречия: это и есть определение гиперреального. Гипотипизация и зеркальность. Кино плагиаторствует у самого себя, вновь и вновь самокопируется, переснимает свою классику, реактивирует свои мифы, переснимает немое кино таким образом, что оно становится более совершенным, нежели оригинал, и т. д.: все это закономерно, кино заворожено самим собой как утраченным объектом, в точности так, как оно (и мы тоже) заворожено реальным как исчезнувшим референтом. Кинематограф и воображаемое (романическое, мифическое, ирреальное, включая безумное использование собственной технологии) были когда-то в живой, диалектической, полной, драматической взаимосвязи. Связь, которая устанавливается сегодня между кинематографом и реальным, является связью обратной, отрицательной: это следствие потери специфики и тем, и другим. Любовная связь без страсти, шокирующая близость без тепла, бесполая помолвка двух фригидных медиа-средств, которые двигаются по направлению друг к другу по асимптотической линии: кинематограф, стремящийся самоустраниться в абсолюте реального, реальное, уже долгое время поглощенное кинематографическим (или телевизионным) гиперреальным. История была могучим мифом, возможно, последним великим мифом наряду с бессознательным. Это тот самый миф, который поддерживал одновременно возможность «объективной» связности причин и событий и возможность нарративной связности дискурса. Век истории — это также и век романа, если можно так выразиться. Именно эта сказочность, мифическая энергия события или рассказа, теряется сегодня, кажется, еще в большей степени. За перформативной и демонстративной логикой — одержимость исторической достоверностью, совершенным воспроизведением (таким, кстати, как воспроизведение реального времени или деталей обыденности у Жанны Ильман, тщательно моющей посуду), эта негативная достоверность одержима материальностью прошлого, настоящего (той или иной сценой прошлого или настоящего), реставрацией абсолютного подобия прошлого или настоящего, заменившей собой все другие ценности, — к этому причастны все мы, и это необратимо. Поскольку само кино внесло свой вклад в исчезновение истории и в пришествие фильмотеки. Фотография и кино внесли громадный вклад в секуляризацию истории, в фиксирование ее в визуальной, «объективной» форме взамен мифам, которые ее пронизывали. Теперь кинематограф может отдать весь свой талант, всю свою технологию на службу реанимации того, к уничтожению чего сам был причастен. Но он воскрешает лишь призраков, и сам теряется среди них.

 ХОЛОКОСТ

 Забвение об уничтожении является частью уничтожения, потому что это — еще и уничтожение памяти, истории, социального и т. д. Это забвение так же существенно, как и событие, которое в любом случае неуловимо для нас, недосягаемо в своей истине. И это забвение еще весьма опасное, его нужно стереть с помощью искусственной памяти (сегодня повсюду искусственные воспоминания стирают память людей, стирают людей из их собственной памяти). Эта искусственная память будет переорганизацией уничтожения — но запоздалой, слишком запоздалой, чтобы она могла вызвать настоящие волны и глубоко всколыхнуть что-то, а особенно — сугубо посредством медиа — холодных, излучающих забвение, апотропию и уничтожение еще более систематически, если такое возможно, чем сами лагеря смерти. Никто больше не заставляет евреев проходить через крематорий или газовую камеру, — они проходят теперь через аудио и видеопленки, через телеэкран и через микропроцессор. Забвение, уничтожение достигают, наконец, своего эстетического измерения — они завершаются через ретроспекцию, наконец доведенные в ней до массового уровня. Разновидность социально-исторического измерения, которое все еще остается в забвении в виде чувства вины, стыдливого утаивания, невысказанного, больше не существует, потому что теперь «все знают», все ужасались и плакали при виде массового истребления, — верный признак того, что «подобного» никогда больше не произойдет. Однако то, что изгнано таким образом, с небольшими затратами, ценой нескольких слезинок, действительно никогда больше не повторится, потому что оно постоянно, снова и снова повторяется, и как раз в той форме, в которой, как считается, его осуждают, в самом средстве этого мнимого изгнания: телевидении. Оно — тот же процесс забвения, ликвидации, уничтожения или даже аннигиляции воспоминаний и истории, та же реверсия, имплозивное излучение, то же беззвучное поглощение, та же черная дыра, как и Освенцим. И нас хотели заставить поверить, что телевидение снимет тяжесть Освенцима путем излучения коллективного осознания, тогда как оно является воплощением Освенцима в другом облике, на этот раз уже не в виде места массового уничтожения, но в виде медиа-средств апотропии. Никто не хочет понять то, что телепроект Холокост является, прежде всего (и исключительно) событием, или скорее, телевизионным объектом (фундаментальное правило Маклюэна, которое не следует забывать), то есть попыткой разогреть холодное историческое событие, трагическое, но холодное, первое масштабное событие холодных систем, систем замораживания, апотропии и уничтожения, которые впоследствии развернутся в других формах (включая «холодную войну» и т. д.), попыткой разогреть холодную субстанцию (евреи уже даже не имеют отношения к своей собственной смерти и, в конечном счете, самоуправляемые массы уже даже не возмущены: удержанные до смерти, отговоренные даже от своей собственной смерти) холодными же медиа — телевидением — для масс, которые сами холодные и для которых это будет лишь тактильными содроганиями и посмертными эмоциями, сдерживаемыми острыми ощущениями, которые унесут их в забвение с эстетически окрашенным осознанием катастрофы. Для разогрева всего этого понадобился целый оркестр политиков и педагогов, прибывших отовсюду, чтобы попытаться придать смысл событию (на этот раз событию телевизионному). Панический шантаж вокруг возможных последствий этой передачи для воображения детей и впечатлительных зрителей. Все педагоги и социальные работники мобилизованы для фильтрации этого события, словно существовала какая-то опасность заражения в этом искусственном воскрешении! Опасность крылась как раз в обратном: в распространении холода, в социальной инертности холодных систем, телевидения в частности. Поэтому необходимо было, чтобы люди мобилизовались, чтобы восстановить социальное, теплое социальное, жаркую дискуссию, а, следовательно, общение — на основе холодного монстра уничтожения. СМИ недостает целей, заинтересованности, истории, слова. Именно это и является фундаментальной проблемой. Поэтому цель заключается в том, чтобы создать то, чего не хватает, любой ценой, и эта передача предназначалась для этого: уловить искусственное тепло от мертвого события, чтобы разогреть мертвое тело социального. Отсюда привлечение еще одного дополнительного медиа-средства, призванного раздуть эффект с помощью обратной связи — опросы сразу после передачи для подтверждения ее массового эффекта, массового воздействия послания — тогда как эти опросы проверяли, конечно же, лишь телевизионный успех самих медиа. Однако эту путаницу никогда не следует забывать. Поэтому нужно говорить о холодном свете телевидения, о его безвредности для воображения (в том числе детского), ведь оно больше не несет никакого воображаемого, по той простой причине, что оно больше не является образом. В отличие от кинематографа, который еще владеет (но все в меньшей степени, потому что все больше заражается телевидением) интенсивным воображаемым, — ведь кинематограф является образом. То есть не только экраном и визуальной формой, но и мифом, вещью, которая еще сохраняет что-то от копии, фантазма, зеркала, мечтания и т. д. Ничего из всего этого нет в телевизионной «картинке», которая ничего не предлагает, которая гипнотизирует, которая сама по себе — лишь экран или даже лишь миниатюрный терминал, расположенный на самом деле в вашей голове; экран — это вы, и телевидение смотрит вас — превращает в полупроводники все ваши нейроны и прокручивается как магнитная лента, телевидение — все, что угодно, но только не образ.

 «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ»

 Фундаментальная цель находится на уровне телевидения и информации. Так же, как уничтожение евреев потерялось за телевизионным событием «Холокоста», — холодные медиа просто заменили холодную систему уничтожения, которую, как полагали, должны были изгнать с их помощью, — так и «Китайский синдром» является замечательным примером верховенства телевизионного события над событием ядерной угрозы, которая, собственно, остается маловероятной и в определенной степени мнимой. Кроме того, фильм (невольно) демонстрирует следующее: в том, что телевидение оказывается там, где происходят события, нет случайного совпадения, все выглядит так, будто как раз бесцеремонное вторжение телевидения на электростанцию и приводит к неожиданному возникновению ядерного инцидента — потому что телевидение является как бы его антиципацией и моделью в повседневном мире: телерасщеплением реальности и реального мира, — потому что телевидение и информация, в целом, являются определенным видом катастрофы в формальном и топологическом смысле, как у Рене Тома: радикальным количественным изменением всей системы. Или, скорее, телевизионное и ядерное сходны по своей природе: за «горячими» и негэнтропийными концептами энергии и информации, они скрывают одинаковую силу апотропии холодных систем. Телевидение также является ядерным процессом цепной реакции, но процессом имплозивным: оно охлаждает и нейтрализует смысл и энергию событий. Ядерное же скрывает за предполагаемым риском эксплозии, то есть процессом горячей катастрофы, длительную холодную катастрофу всемирной системы апотропии. В конце фильма массовое вмешательство прессы и телевидения, второе по счету, снова провоцирует драму — убийство технического директора бойцами спецназа, — драму, призванную заменить несостоявшуюся ядерную катастрофу. Гомология ядерного и телевизионного прочитывается непосредственно в видеоряде: ничто так не похоже на центр наблюдения и дистанционного управления электростанцией, как телевизионные студии, и пульты управления ядерным процессом смешиваются в одном воображаемом с пультами управления в студиях записи и телевещания. Поэтому все проходит между этими двумя полюсами: другой центр, центр реактора, в общем, истинная суть дела, о котором мы ничего не знаем, этот центр похож на реальное, скрытое и неразборчивое и, в сущности, не имеет никакого значения в фильме (когда нам пытаются это подсказать через неизбежный характер катастрофы, в плане воображаемого это не проходит: драма разыгрывается на экране, и нигде больше). «Гаррисберг», «Уотергейт» и «Телесеть»: такова трилогия «Китайского синдрома» — запутанная трилогия, в которой уже не разобрать, что является следствием или симптомом другого: является ли идеологический аргумент (эффект Уотергейта) лишь симптомом ядерного (эффект Гаррисберга) или информационной модели (эффект Телесети) — является ли реальное (Гаррисберг) лишь симптомом воображаемого (Телесеть и Китайский синдром), или же наоборот? Изумительная индифференциация, идеальное созвездие симуляции. Какое точное название — «Китайский синдром», ведь реверсивность симптомов и их конвергенция в том же самом процессе составляют именно то, что мы называем синдромом, — то, что он китайский, только добавляет ему поэтический и интеллектуальный привкус головоломки или супликации. Навязчивое объединение «Китайского синдрома» и Гаррисберга. Но настолько непроизвольно все это? Даже не устанавливая мистической связи между симуляцией и реальным, ясно, что «Синдром» все-таки имеет отношение к «реальному» инциденту в Гаррисберге, но не согласно причинной логике, а согласно отношениям заражения и скрытой аналогии, связывающим реальное с моделями и симулякрами: индуцированию в фильме ядерного через телевидение с тревожной очевидностью соответствует индуцирование через фильм ядерного инцидента в Гаррисберге. Странная прецессия фильма о реальном, самая удивительная из тех, которые нам было дано наблюдать: реальное детально соответствовало симулякру, включая приостановленный, незавершенный характер катастрофы, что является главным с точки зрения апотропии: реальное подстроилось под фильм, чтобы создать симуляцию катастрофы. Отсюда к тому, чтобы перевернуть нашу логику и увидеть в «Китайском синдроме» реальное событие, а в Гаррисберге — его симулякр, остается лишь один шаг, который необходимо сделать без лишних рассуждений. Ведь именно по этой логике ядерная реальность в фильме является результатом телевизионного эффекта, а «реальный» Гаррисберг — результат кинематографического эффекта «Китайского синдрома». Однако фильм также не оригинальный прототип Гаррисберга, одно не симулякр того, относительно чего другое могло бы быть реальным: мы имеем дело лишь с симулякрами, и Гаррисберг — это разновидность симулякра второго порядка. Цепная реакция, безусловно, имеет место, и мы, возможно, погибнем от нее, но эта цепная реакция никогда не была ядерной, это цепная реакция симулякров и симуляции, которые действительно поглощают всю энергию реального, но уже не в зрелищном ядерном взрыве, а в тайной и непрерывной имплозии, которая приобретает сегодня, пожалуй, более смертельный характер, чем все взрывы, которыми нас пугают. Ведь взрыв — это всегда обещание, он — наша надежда: заметьте, в какой мере и в фильме, и в Гаррисберге все заняты ожиданием того, чтобы все взлетело на воздух, чтобы разрушение стало явным и освободило нас от этой неописуемой паники, от этой паники апотропии, которую она распространяет в незримой форме ядерного. Пусть «сердце» реактора откроет, наконец, свою жаркую силу разрушения, пусть он укрепит нашу уверенность в наличии энергии, хоть бы и катастрофической, и вознаградит нас ее зрелищем. Ведь беда заключается в том, что не существует зрелища ядерного, зрелища ядерной энергии самой по себе (Хиросима уже в прошлом), и именно поэтому ее отрицают — ее полностью признали, если бы она выставляла себя напоказ, как предыдущие формы энергии. Парусия катастрофы — главная пища нашего мессианского либидо. Однако как раз этого больше никогда не произойдет. Больше никогда не будет энергии в ее зрелищно-патетичной форме — всего романтизма взрыва, в котором было столько обворожительности и который вместе с тем был романтизмом революции, — а будет только холодная энергия симулякра и его перегонка гомеопатическими дозами в холодные системы информации. О чем еще мечтают СМИ, как не о том, чтобы вызвать событие одним лишь своим присутствием? Все порицают это, однако втайне очарованы подобной возможностью. Такова логика симулякров, это уже не божественное предопределение, это прецессия моделей, однако она столь же неумолима. И именно поэтому события уже не имеют собственного смысла: не потому, что они малозначащие сами по себе, а потому, что им предшествовала модель, с которой их ход лишь совпадает. Было бы изумительно, если бы сценарий «Китайского синдрома» повторился в Фесенхайме во время экскурсии, организованной для журналистов компанией EDF (Electricite de France), если бы по этому случаю снова произошла катастрофа, связанная с магическим глазом, с провокационным присутствием СМИ. Увы, ничего подобного не произошло. А впрочем, произошло! — столь сильна логика симулякров: неделю спустя были обнаружены трещины в реакторе. Чудо процесса заражения, чудо аналогичных цепных реакций! Итак, главное в фильме — отнюдь не эффект Уотергейта в применении к персонажу Джейн Фонды, отнюдь не в телевидении, разоблачающем недостатки АЭС, а наоборот, в том, что действие телевидения подобно цепной реакции — оно двойник цепной ядерной реакции. Впрочем, в самом конце фильма — и здесь фильм безжалостен к собственной аргументации, — когда Джейн Фонда заставляет взорваться истину в прямом эфире (максимальный эффект Уотергейта) ее образ сливается с тем, что будет неуклонно следовать за ней и затмит ее на экране: с рекламным роликом. Эффект Телесети существенно превосходит эффект Уотергейта и загадочно растворяется в эффекте Гаррисберга, то есть не в ядерной угрозе, а в симуляции ядерной катастрофы. Поэтому эффективна симуляция, а отнюдь не реальное. Симуляция ядерной катастрофы является стратегической движущей силой этой обезличенной и всемирной кампании по апотропии: вышколить людей в духе идеологии и дисциплины абсолютной безопасности — вышколить их в духе метафизики расщепления и трещины. Для этого необходимо, чтобы трещина была фикцией. Реальная катастрофа задержала бы развитие событий, она была бы ретроградным инцидентом эксплозивного типа (ничего не меняя в порядке вещей: разве Хиросима хоть как-то задержала, замедлила общий процесс апотропии?). Реальный ядерный синтез был бы плохим аргументом и в фильме: он опустился бы до уровня фильма-катастрофы — слабого по определению, ведь все просто свелось бы к событию взрыва. «Китайский синдром», как таковой, берет свою силу в фильтрации катастрофы, в перегонке ядерного призрака через вездесущую телетрансляцию информации. Он учит нас (опять-таки невольно), что ядерная катастрофа не имеет места, не предназначена, чтобы произойти в реальности, также как атомное столкновение на заре «холодной войны». Равновесие страха основывается на вечном и тревожном ожидании ядерного столкновения. Атом и ядерное предназначены для распространения апотропии, мощь катастрофы, вместо бесполезного взрыва, должна рассеяться гомеопатическими, молекулярными дозами в бесконечных сетях информации. Именно в этом истинное заражение — не биологическое или радиоактивное, — в психологической деструктуризации посредством психологической стратегии катастрофы. Если хорошо присмотреться, то фильм вводит нас в эту психологическую стратегию и даже идет дальше, преподнося нам урок, диаметрально противоположный уроку Уотергейта: если вся стратегия сегодня заключается в психологическом терроре и в апотропии, которые связаны с тревожным ожиданием и вечной симуляцией катастрофы, то единственным способом как-то исправить сценарий, было бы заставить катастрофу произойти, произвести или воспроизвести реальную катастрофу. Ведь именно это время от времени удается Природе: в минуты своего вдохновения Бог посредством катаклизмов разрушает равновесие страха, в которой погружено человечество. В плане, более близком к нам: именно этим и занят терроризм, противопоставляя реальное, ощутимое насилие незримому насилию безопасности. Впрочем, именно в этом его неоднозначность.

 «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ»

 Коппола снимает свой фильм так, как американцы вели войну, — в этом смысле «Апокалипсис сегодня» лучшее из возможных свидетельств, — с таким же отсутствием чувства меры, с такой же избыточностью средств, с такой же ужасной откровенностью… и с таким же успехом. Война как бесконечное разрушение, война как технологическая и психоделическая фантазия, война как череда спецэффектов, война, ставшая кинофильмом прежде, чем он был снят. Война исчезает в технологическом тесте, и для американцев она является в первую очередь именно этим: полигоном, гигантской площадкой для тестирования своего вооружения, своих методов, своей мощи. Коппола занимается тем же: он тестирует интервенционную мощь кинематографа, тестирует влияние кинематографа, который стал раздутым сверх меры аппаратом спецэффектов. В этом смысле его фильм является как бы продолжением войны другими средствами, завершением этой незавершенной войны, ее апофеозом. Война стала фильмом, фильм стал войной, и то, и другое соединилось в своем общем кровосмешении с технологией. Настоящую войну ведет Коппола, который подобен в этом Вестморленду (за исключением гениальной иронии с филиппинскими лесами и деревнями, залитыми напалмом для изображения южновьетнамского ада); кино впитывает в себя все и все начинается снова: ликование Молоха от процесса съемки, жертвенная радость от такого количества потраченных миллионов, от такого холокоста средств, от такого количества несчастных случаев и очевидной паранойи. Изначально этот фильм был задуман как глобальное, историческое событие, в котором, по замыслу автора, война во Вьетнаме должна была предстать лишь тем, чем она и являлась — фантомом, и мы должны поверить в то, что война во Вьетнаме сама по себе, возможно, никогда не имела места, это фантазия, причудливая фантазия о напалме и тропиках, психотропный бред, целью которого было не «достижение» победы или какой-то политической цели, а, скорее, жертвенное и чрезмерное развертывание мощи, которая уже фиксировала себя на пленку, не ожидая, возможно, ничего другого, кроме освящения себя суперфильмом, который довершит массовый зрелищный эффект этой войны. Никакой реальной дистанции, никакого критического осмысления, никакого «осознания» войны: и в этом грубое качество этого фильма, неповрежденного морально-психологической атмосферой войны. Коппола, конечно, имеет право украсить фильм вертолетчиком в нелепой шляпе легкой кавалерии и заставить его уничтожать вьетнамскую деревню под музыку Вагнера — но это не критические, тусклые символы, они погружены в аппарат, они — часть спецэффектов, и он сам снимает кино таким же образом, с такой же ретроспективной манией величия, с такой же бессмысленной яростью, с таким же перегруженным шутовским эффектом. Но результат лишь вызывает недоумение, и задаешься вопросом: как возможен такой ужас (не ужас войны, ужас от фильма, строго говоря)? Ответ отсутствует, отсутствует и какой-либо возможный здравый смысл, и можно даже порадоваться этой ужасной шутке (точно как шутке с Вагнером) — однако можно все же обнаружить одну совсем незначительную идею, не такую уж и плохую, которая не является оценочным суждением, но которая подсказывает нам, что война во Вьетнаме и этот фильм сделаны из одного теста, что их ничто не разделяет, что этот фильм является частью войны, и если американцы проиграли ту войну (на первый взгляд), они, безусловно, выиграли эту. «Апокалипсис сегодня» — это победа в мировом масштабе. Кинематографическая мощь равна или даже превышает мощь промышленных и военных комплексов, равна или даже превышает мощь Пентагона и всего правительства. И тут выясняется, что фильм небезынтересен: он ретроспективно освещает то (даже не ретроспективно, потому что фильм — одна из фаз этой войны без развязки), что в этой войне уже было от сумасшествия, от иррационального в политическом плане: американцы и вьетнамцы уже примирились; сразу после окончания военных действий американцы уже предлагали им свою экономическую помощь; они уничтожали джунгли и города, точно так же, как сегодня они снимают свое кино. Нельзя ничего понять ни в войне, ни в кино (по крайней мере, в последнем), если не заметить эту неразличимость не только между идеологией и этикой, между добром и злом, но и между уничтожением и производством через их обратимость, имманентность вещи в своей революции, органический метаболизм всех технологий, от ковровых бомбардировок до киносъемок…

 ЭФФЕКТ БОБУРА: ИМПЛОЗИЯ И АПОТРОПИЯ

 Бобур — эффект, Бобур — машина, Бобур — объект? Как все-таки назвать его? Тайна этой конструкции из потоков и знаков, из сетей и схем — последняя робкая попытка найти выражение для структуры, которая больше не имеет собственного названия, структуры общественных отношений, выставленных для поверхностного обсуждения (организация коллективного досуга, самоуправление, информация, медиа) и для необратимой глубинной имплозии. Памятник массовой игры симуляции, Центр Помпиду функционирует как мусоросжигатель, который вбирает в себя всю культурную энергию и пожирает ее — примерно так, как это делает черный монолит из фильма «Космическая одиссея»: лишенная смысла конвекция всех контентов, которые материализуются здесь, поглощаются и аннигилируются. Все, что есть в окрестностях Бобура не что иное, как защитная зона — чистка фасадов, дезинфекция, снобистский гигиенический дизайн — а в переносном смысле: он — машина для производства пустоты. Что-то вроде атомных электростанций: истинная опасность, которую они представляют, состоит не в угрозе взрыва и загрязнения, а в системе максимальной безопасности, которую они излучают во всех направлениях, в защитной зоне контроля и апотропии, которая постепенно распространяется на всю территорию — промышленный, экологический, экономический, геополитический гласис. Вот что важно: АЭС — это та матрица, где производится модель абсолютной безопасности, которая распространяется на всю социальную сферу и которая, по сути, является моделью апотропии (это та самая модель, которая управляет нами в мировом масштабе под знаком мирного сосуществования и симуляции ядерной угрозы). Такая же модель, с соблюдением всех пропорций, производится в этом Центре культурного расщепления и политической апотропии. Но при этом циркуляция потоков здесь неравномерна. Вентиляция, охлаждение, электропроводка — «традиционные» потоки циркулируют здесь очень хорошо. Но уже с циркуляцией человеческого потока не все так гладко (архаичное решение эскалаторов в пластиковых рукавах, тогда как люди должны были бы как-то всасываться и выталкиваться, с тем, чтобы эта подвижность отвечала причудливой театральности труб и балок, предающей конструкции оригинальность). Что касается материала: картин, скульптур, книг, а также так называемого поливалентного внутреннего пространства, так здесь движение вообще отсутствует. Чем глубже мы проникаем внутрь, тем меньше циркуляция. В противоположность аэропорту Руасси, где после футуристического центра с «космическим» дизайном, с автобусами-шаттлами и т. д. вы совершенно банальным образом оказываетесь перед… обычными самолетами. Но непоследовательность такая же. (А как насчет денег, еще одного потока, что происходит с его способом циркуляции, эмульсии, его влиянием на Бобур?) То же противоречие и в поведении персонала, прикрепленного к «поливалентному» пространству и лишенного личного пространства для работы. Когда они в движении, то выглядят солидно, тактично, все их поведение очень функционально, полностью приспособлено к «структуре» «современного» пространства. Когда они сидят в своем углу, который собственно, таковым и не является, они всячески пытаются укрыться искусственным одиночеством, восстановить свой «колпак». И в этом тоже дает о себе знать вездесущая тактика апотропии: людей обрекают на то, чтобы они использовали всю свою энергию на эту индивидуальную оборону. Любопытно, что при этом мы снова встречаем то же противоречие, присущее всему Бобуру: подвижный экстерьер, крутой и модерновый, — и интерьер, чахнущий над старыми ценностями. Это пространство апотропии, организованное исходя из идеологии обозримости, прозрачности, поливалентности, консенсуса и контакта, санкционированное шантажом безопасности, является сегодня, фактически, пространством всех общественных отношений. Здесь присутствует весь социальный дискурс, и в этом плане, как и в плане подхода к культуре, Бобур, в полном противоречии с провозглашенными целями, — это отличный памятник нашей современности. Приятно осознавать, что идея Центра рождена не революционным духом, а логикой установленного порядка, лишенной всякого критического духа, а значит более близкой к истине, способной в своем упрямстве создать машину, по сути, не подвластную контролю, которая ускользает от нее в самом своем успехе и которая является точным отражением, вплоть до противоречий, современного положения вещей. Конечно, все культурное содержание Бобура анахронично, потому что этой архитектурной оболочке могла соответствовать лишь внутренняя пустота. Общее впечатление такое, что здесь все только что вышло из комы, что все пытается быть живым, а является лишь реанимированным, и это действительно так, ибо культура мертва, и Бобур это прекрасно отражает, но как нечто постыдное, тогда как следовало бы принять эту смерть и торжественно возвести памятник или антипамятник, эквивалентный фаллической пустоте Эйфелевой башни в свое время. Памятник тотальному разъединению, гиперреальности и имплозии культуры — доступной сегодня нам, на самом деле, лишь благодаря транзисторным схемам, которые постоянно подстерегает страшное короткое замыкание. На самом деле Бобур — это компрессия а-ля Сезар, символ культуры, раздавленной своим собственным весом, — как двигающиеся автомобили, внезапно замороженные в геометрическом массиве. Эдакие «развалюхи» Сезара, уцелевшие после идеальной автокатастрофы, но не внешней, а внутренней относительно их металлической и механической структуры, катастрофы, которая должна была превратить их в тонны металлолома с хаосом из труб, рычагов, рам, железа и человеческой плоти внутри, с учетом геометрических размеров, рассчитанных на возможно наименьшее пространство, — вот так и культура Бобура — искорежена, скручена, иссечена и сжата в ее наименьшие простые элементы — пучок бесполезных трансмиссий и обменов, застывший механоид из научной фантастики. И вместо того, чтобы деформировать и спрессовать всю культуру здесь, в этой конструкции, которая, в любом случае выглядит как компрессия, вместо этого в Бобуре выставляют Сезара. В нем выставляют Дюбюффе и контркультуру, обратная симуляция которой выступает референтом несуществующей культуры. В этой конструкции, которая могла бы служить мавзолеем для бесполезной операциональности знаков, под лозунгом вечности культуры снова выставляют эфемерные и саморазрушительные машины Тэнгли. Таким образом достигают общего равновесия: Тэнгли превращается в забальзамированный музейный экспонат, Бобур наполняется кажущимся художественным содержанием. К счастью, весь этот симулякр культурных ценностей заранее аннулирован внешней архитектурой. Ведь эта архитектура, с ее сетями трубопроводов, отчего здание напоминает павильон для проведения выставок или международных ярмарок, с ее (рассчитанной?) хрупкостью, противоречащей любой традиционной ментальности или монументальности, открыто провозглашает, что наше время уже никогда не будет обозначено прямолинейностью, что наша единственная темпоральность — это темпоральность ускоренного цикла и рециркуляции, темпоральность циркуляции и транзита потоков. Наша единственная культура, в сущности, это культура энергоносителей, культура очистки, крекинга, расщепления культурных молекул и их повторного соединения в синтетических продуктах. Бобур-музей стремится это скрыть, а Бобур-конструкция заявляет об этом в полный голос. И именно в этом кроется глубинная причина красоты конструкции и посредственности внутреннего пространства. В любом случае, сама идеология «культурного производства» является антитезой всей культуре, точно так же, как идеология обозримости и поливалентного пространства: культура — это место посвящения, соблазна, инициации, символического обмена, ограниченное по размеру и в высшей степени ритуализированное. И здесь ничего не попишешь. Тем хуже для масс, тем хуже для Бобура. Так что же надо было разместить в Бобуре? Ничего. Пустоту, что означало бы исчезновение любой культуры, смысла и эстетического чувства. Однако это выглядело бы все еще слишком романтичным и волнительным, и подобная пустота все еще представляла бы определенную ценность как шедевр антикультуры. Или может быть стоило установить там гиро- и стробоскопы, когда огни, описывая круги, рассекали бы пространство, основным движущимся элементом которого была бы человеческая толпа? На самом деле Бобур прекрасно иллюстрирует тот факт, что один порядок симулякров удерживается лишь благодаря алиби предыдущего порядка. В нашем случае конструкция с вывернутыми наружу трубопроводами и арматурой выдает себя за вместилище традиционной культуры. Порядок предыдущих симулякров (порядок смысла) производит пустую субстанцию следующего порядка, который уже даже не подозревает о различии между означающим и означаемым, между формой и содержанием. Поэтому вопрос «Что надо было разместить в Бобуре?»- абсурден. На него нельзя ответить, потому что топическое различие между внутренним и внешним больше не устанавливается. Именно в этом заключается наша истина, истина Мебиуса — безусловно, несбыточная утопия, но к которой Бобур все же приближается, поскольку все его содержание заключается в контрсмысле и заранее аннигилируется формой. Но однако, все же… если что-то должно было быть в Бобуре — так это нечто похожее на лабиринт, бесконечную библиотеку комбинаций, случайное перераспределение предопределения через игру или лотерею — словом, вселенная Борхеса, его «Кругов руин»: разрастающаяся цепь субъектов, пригрезившихся друг другу (не сказочный Диснейленд, а лаборатория практической фантастики). Экспериментирование со всеми процессами репрезентации: дифракцией, имплозией, демультипликацией, случайными сцеплениями и расцеплениями — почти так, как в Эксплораториуме в Сан-Франциско или как в романах Филиппа Дика, — словом, культуру симуляции и завороженности, а не только производства и содержания: вот что можно было бы предложить из того, что не принадлежит к убогой антикультуре. Возможно ли это? Но явно не здесь. Все же эта культура творится в другом месте — везде и нигде. Сегодняшней единственно подлинной культурной практикой, практикой масс, нашей практикой (различие преодолено) является манипуляционная, алеаторная практика в лабиринте знаков, не имеющая более смысла. Однако, с другой стороны, было бы неправильно утверждать, что в Бобуре отсутствует связь между формой и содержанием. Это было бы верно, если бы мы могли хоть немного положиться на официальную версию культурного проекта. Но здесь все происходит с точностью до наоборот. Бобур — это лишь огромная работа по трансмутации этой знаменитой традиционной культуры смысла в случайный порядок знаков, в порядок симулякров (третий), который полностью идентичен с этими вывернутыми наружу балками и трубопроводами. И именно для того, чтобы подготовить массы к этому новому семиургическому порядку, их призывают сюда — под противоположным предлогом приобщения к культуре, многозначительной и глубокой. Поэтому следует исходить именно из этой аксиомы: Бобур — это памятник культурной апотропии. За кулисами музейного сценария, который служит лишь для сохранения фикции гуманистической культуры, производится настоящая работа по омертвлению культуры, и именно для оплакивания культуры весело приглашаются массы. И они ринутся к нему. Именно в этом кроется наивысшая ирония Бобура: массы ринутся к нему не потому, что они жаждут культуры, которой они был лишены на протяжении веков, а потому, что у них впервые появилась возможность принять массовое участие в этом грандиозном оплакивании культуры, которую они в глубине души всегда ненавидели. Так вот, когда Бобур разоблачают как культурно-массовую мистификацию, это полное недоразумение. Массы спешат к нему, чтобы насладиться этой казнью, этим четвертованием, этим операциональным проституированием культуры, которая, наконец, действительно уничтожена, включая контркультуру, являющуюся лишь ее апофеозом. Массы спешат в Бобур так же, как они спешат к месту катастрофы, в таком же непреодолимом порыве. Мало того: они и есть катастрофа Бобура. Их количество, их стихийное движение, их увлечение, их желание все увидеть и все пощупать объективно является поведением, смертельным и катастрофическим для любого начинания. Не только их масса является угрозой для постройки, а и их вовлеченность, их любопытство аннигилируют само содержание одухотворенной культуры. Этот массовый наплыв уже не имеет ничего общего с тем, что предлагалось в качестве культурной цели, это ее радикальное отрицание, во всей ее избыточности и успешности. Таким образом, именно массы выполняют функцию катастрофического агента в этой структуре катастрофы, и сами же массы кладут конец массовой культуре. Циркулируя в пространстве транспарентности, массы, конечно, сами превращаются в поток, но вместе с тем, своей прозрачностью и инертностью они кладут конец этому «поливалентному» пространству. Их приглашают принять участие, посимулировать, поиграть с моделями — они же идут дальше: участвуют и манипулируют настолько удачно, что стирают любой смысл, который организаторы хотели придать действу, и создают угрозу самой инфраструктуре здания. Вот так своего рода пародия, гиперсимулирование в ответ на культурную симуляцию превращает массы, которые должны были быть лишь живым инвентарем культуры, в исполнительный механизм, предназначенный для умерщвления той культуры, лишь позорным воплощением которой является Бобур. Надо аплодировать этому успеху культурной апотропии. Все антихудожники, леваки и хулители культуры никогда и близко не приближались к апотропической эффективности этой монументальной черной дыры, которой является Бобур. Это поистине революционное действо, и именно потому, что оно непроизвольное, бессознательное и неконтролируемое, тогда как любое сознательное действие, направленное на уничтожение культуры, ведет, как известно, лишь к ее возрождению. Сказать по правде, единственным содержанием Бобура являются сами массы, которые здание перерабатывает как конвертер, как «черный ящик» или, в терминах ввода-вывода, точно так, как нефтеперерабатывающий завод перерабатывает нефтепродукты или необработанный поток сырья. Еще никогда не было так очевидно, что содержание — в данном случае культура, а в других — информация или предметы потребления — выступает лишь призрачной опорой действия самих медиа, функция которых всегда заключалась в том, чтобы индуцировать массу, создавать однородный человеческий и ментальный поток. Гигантское движение вперед и назад, подобное движению постоянных пользователей пригородным транспортом, которые в определенные часы поглощаются и выбрасываются обратно своим местом работы. И здесь тоже речь идет о работе — тестирование, опрос, управляемый запрос: люди приходят, чтобы выбрать здесь предметы-ответы на все вопросы, которые они могут поставить себе, или, скорее, они сами приходят в ответ на функциональный и управляемый запрос, который представляют собой предметы. Поэтому больше, чем о производственной цепочке, речь здесь идет о запрограммированной дисциплине, требования которой скрыты под налетом толерантности. В большей степени, чем традиционные институты капитала, гипермаркет, или «гипермаркет культуры» Бобур уже стал моделью любой грядущей формы контролируемой социализации: скопление в одном гомогенном пространстве-времени всех разрозненных функций социального тела и жизни (работа, досуг, медиа, культура), переписывание всех противоречивых тенденций в терминах интегрированных торговых сетей, пространство-время целой операциональной симуляции социальной жизни. Для этого необходимо, чтобы потребительская масса была эквивалентна или гомологична массе продуктов. Именно противоборство и слияние этих двух масс происходит в гипермаркете такого уровня, как Бобур, представляющем собой нечто совершенно отличное от традиционных культурных сооружений (музеев, галерей, библиотек, домов культуры и т. д.). Именно здесь вырабатывается та критическая масса, сверх которой товар становится гипертоваром, а культура — гиперкультурой — то есть связанной более не с определенной торговлей или определенными потребностями, но с неким универсумом общего рейтинга, или замкнутой цепью, по которой пробегает импульс от отрезка к отрезку, — непрерывный транзит возможностей выбора, прочтений, референций, обозначений, расшифровок. Здесь культурные объекты, так же как в другом месте предметы потребления, не имеют иной цели, кроме как поддерживать вас в состоянии массовой интеграции, управляемого транзисторного потока, намагниченной молекулы. Вот что являет нам гипермаркет — гиперреальность товара, и то же являет нам Бобур: гиперреальность культуры. Уже в традиционном музее начинается это распределение, эта перегруппировка, эта интерференция всех культур, эта безоговорочная эстетизация, которая составляет гиперреальность культуры, но музей — это все еще память. Ни в каком другом месте культура не потеряла в такой степени своей памяти в пользу накопления и функционального перераспределения, как в Бобуре. И это является выражением более общего факта: во всем «цивилизованном» мире создание запасов предметов обусловило дополнительный процесс образования человеческих запасов — очередей, простоев, «пробок», накопителей, лагерей. Вот что на самом деле является «массовым производством» — не производство в больших количествах или для потребления масс, а производство самих масс. Массы как конечный продукт всякой социальности, и в то же время положившие конец социальности, ведь эти массы, относительно которых нас хотят заставить поверить, что они являются социальным, наоборот, являются местом имплозии социального. Массы становятся все более плотной сферой, в которую направляется все социальное, чтобы испытать имплозию и раствориться в непрерывном процессе симуляции. Отсюда это вогнутое зеркало: именно наблюдая массы внутри, массы захотят ринуться туда же. Типичный для маркетинга ход: в нем находит свое обоснование вся идеология прозрачности. Или еще: выставляя на сцену уменьшенную идеальную модель, надеются получить ускоренное притяжение, автоматическую агглютинацию культуры, подобную автоматической агломерации масс. Тот же процесс: ядерное действие цепной реакции или зеркальное действие белой магии. Таким образом, Бобур в масштабе культуры впервые является тем, чем гипермаркет является в масштабе товара: совершенным циркуляционным оператором, демонстрацией чего угодно (товара, культуры, толпы, сжатого воздуха) через собственный ускоренный оборот. Если запасы предметов обуславливают образование человеческих запасов, то латентное насилие в запасе предметов обуславливает обратное насилие в отношении людей. Любой запас насильственный по своему характеру, и в любой массе людей также присутствует специфическое насилие, которое вытекает из факта ее имплозии, — насилие, присущее ее силе притяжения, ее концентрации вокруг собственного центра инертности. Масса является центром инертности и, следовательно, центром совершенно нового, необъяснимого насилия, отличного от взрывного насилия, направленного вовне. Критическая масса — имплозивная масса. После отметки 30 000 она угрожает вызвать «искривление» структуры Бобура. Массы, намагниченные структурой, становятся переменной величиной разрушения самой структуры — если разработчики проекта стремились к такому (но как на такое надеяться?), если они запрограммировали возможность одним ударом покончить и с архитектурой и с культурой, — тогда Бобур представляет собой самый дерзкий объект и самое успешное предприятие века! Заставьте Бобур искривиться! Новый революционный лозунг. Нет нужды ни сжигать его, ни протестовать против него. Идите к нему! Это лучший способ разрушить его. Успех Бобура больше не тайна: люди идут туда ради этого, они штурмуют это здание, хрупкость которого уже дышит катастрофой, с единственной целью — заставить его искривиться под тяжестью их веса. Конечно, они подчиняются императиву апотропии: им дают объект для потребления, культуру для поглощения, сооружение для ощупывания. Но вместе с тем они отчетливо, не осознавая этого, нацелены на это разрушение. Нашествие — это единственный акт, на который массы способны как таковые, — бронебойные массы, которые бросают вызов зданию массовой культуры, которые своим весом (то есть аспектом, более всего лишенным смысла, глупейшим и наинекультурнейшим), противостоят вызову культурности, брошенному Бобуром. На вызов массового привлечения к стерилизованной культуре массы отвечают разрушительным нашествием, которое находит свое продолжение в грубом ощупывании. На психическую апотропию массы отвечают прямой физической апотропией. Вот их вызов. И их хитрость, которая заключается в том, что они дают ответ именно в тех терминах, в которых от них добиваются, но помимо этого на симуляцию, в которую их погружают, они отвечают полным энтузиазма социальным процессом, который выходит за пределы этой симуляции и действует как разрушительная гиперсимуляция. Люди полны желанием все забрать, все опустошить, все поглотить, все ощупать руками. Наблюдение, расшифровка, познание — это их не устраивает. Единственная массовая страсть — это страсть ощупывать руками. Организаторы (и художники, и интеллектуалы) напуганы этой бесконтрольной пытливостью, ведь они рассчитывали лишь на то, что массы будут учиться, созерцая культуру. Они отнюдь не рассчитывали на это непреодолимое влечение к активности и разрушению, грубый и оригинальный ответ на дар непонятной культуры, увлечение, которое имеет все черты взлома и осквернения святилища. Бобур мог бы или должен был исчезнуть на следующий день после открытия, разобранный и растащенный толпой, со стороны которой это было бы единственным возможным ответом на абсурдный вызов прозрачности и демократичности культуры, — каждый забрал бы фетишизированный кусочек этой культуры, которая сама уже стала фетишем. Люди приходят, чтобы притронуться, они и смотрят так, будто касаются, и их взгляд — это лишь аспект тактильной манипуляции. Речь идет о мире, который познается наощупь, мире, который уже не является ни визуальным, ни дискурсивным, и люди непосредственно вовлечены в процесс (манипулировать/быть объектом манипуляции, проверять /быть объектом проверки, распространять /быть объектом распространения), который уже не принадлежит ни к порядку репрезентации, ни к порядку дистанции, ни к порядку отображения. Это часть паники, перешедшей от панического мира. Тихая паника, лишенная внешних причин. Внутреннее насилие по отношению к перенасыщенной целости. Имплозия. Бобур не может даже сгореть — все предусмотрено. Пожар, взрыв, разрушение уже не выступают мнимой альтернативой для постройки такого рода. Формой, способной разрушить «четвертый» мир, кибернетический и комбинаторный, становится имплозия. Ниспровержение, насильственное разрушение — это то, что отвечает определенному способу производства. Миру сетей, комбинаторики, потоков соответствуют реверсия и имплозия. То же происходит и с учреждениями, государством, властью и т. д. Мечта узреть, как все это взрывается вследствие противоречий — не более чем мечта. Что происходит в действительности, — так это то, что учреждения испытывают имплозию сами по себе, вследствие разветвления, обратной связи, чрезмерно развитой системы контроля. Власть имплозирует, это и есть ее нынешний способ исчезновения. То же происходит и с городом. Пожары, войны, эпидемии, революции, маргинальная преступность, катастрофы: вся проблематика антигорода, негативизма города внутреннего или внешнего характера, содержит в себе нечто архаичное сравнительно с настоящим способом его уничтожения. Даже сценарий подземного города — китайская версия сохранения структуры — выглядит наивным. Город уже не повторяется по схеме воспроизводства, еще зависимой от общей схемы производства, или по схеме аналогии (как восстанавливали города после Второй мировой войны), еще зависимой от схемы репрезентации. Город уже не возрождается, даже его историческая застройка, — он заново создается на основе чего-то подобного генетическому коду, который дает возможность повторять его неограниченное количество раз на основе накопленной кибернетической памяти. Настал конец даже утопии Борхеса, утопии с картой, которая совпадает с территорией и полностью повторяет ее: сегодня симулякр уже не проходит через этап копии и копирования, он создается генетической миниатюризацией. Конец репрезентации и имплозии, а так же всего пространства в инфинитезимальной памяти, которая ничего не забывает и никому не принадлежит. Симуляция необратимого, имманентного порядка, все более плотного, потенциально насыщенного, который никогда больше не испытает освободительного взрыва. Мы были культурой освободительного насилия (рациональности). Пусть это культура капитала, высвобождения производительных сил, необратимого расширения поля разума и поля ценности, пространства, завоеванного и колонизированного вплоть до космических пределов, — пусть это культура революции, которая опережает будущие формы социального и энергии социального, — схема остается той же: расширяющаяся сфера, проходящая медленные или бурные фазы, схема высвобожденной энергии — имажинерия излучения. Насилие, которое сопровождает ее, это насилие остального мира: насилие производства. По своей природе оно диалектическое, энергетическое, катарсическое. Это то насилие, которое мы научились анализировать и которое знакомо нам: насилие, которое прокладывает пути социального и которое ведет к насыщению всего поля социального. Это насилие детерминированное, аналитическое, освободительное. Сегодня появляется совершенно иной тип насилия, который неизвестно как анализировать, поскольку он выпадает из традиционной схемы эксплозивного насилия: имплозивное насилие, которое является не результатом расширения системы, но ее перенасыщения и сжатия, как это происходит в звездных системах. Насилие, которое является результатом чрезмерного уплотнения социального, сверхотрегулированной системы, перегруженности сети (знаний, информации, власти) и гипертрофированного контроля, проникающего во все интерстициальные зоны. Мы не способны постичь это насилие, потому что вся наша имажинерия сфокусирована на логике расширяющихся систем. Оно не поддается расшифровке из-за своей неопределенности. Возможно, оно даже больше не принадлежит к схеме индетерминированности. Ведь алеаторные модели пришли на смену классическим моделям детерминированности и причинности и отличаются непринципиально. Они выражают переход от определенных экспансивных систем к системам производства и распространения во всех направлениях — неважно, в виде звезды или ризомы, — так или иначе все философские положения о высвобождении энергии, интенсивности излучения и молекуляризации желания движутся в том же направлении — в сторону насыщения интерстициальных и бесконечных сетей. Разница между громадным и молекулярным кроется лишь в модуляции, возможно, последней в фундаментальном энергетическом процессе расширяющихся систем. Другое дело, если мы переходим от тысячелетней фазы высвобождения и расщепления энергии к фазе имплозии, после своего рода максимального излучения (следует пересмотреть концепции потери и расхода Батая в этом смысле, а также миф о неисчерпаемости солнечного излучения, на котором он основывает свою антропологию излишеств: это последний эксплозивный миф нашей философии, по сути, последний фейерверк общей экономики, однако это уже не имеет для нас значения) к фазе реверсии социального — гигантской реверсии поля в момент достижения точки насыщения. Звездные системы также не прекращают свое существование после рассеяния энергии излучения: они испытывают имплозию, процесс которой протекает сначала медленно, а затем постепенно ускоряется, — они сжимаются с невероятной скоростью и превращаются в инволютивные системы, поглощающие всю окружающую энергию, пока не становятся черными дырами, где мир, каким мы его знаем, то есть как излучение и неопределенный энергетический потенциал, перестает существовать. Возможно, что крупные города — если эта гипотеза верна — превратились в очаги имплозии, места абсорбции и резорбции самого социального, золотой век которого, совпавший с двойным концептом капитала и революции, несомненно, остался в прошлом. Социальное медленно, а иногда резко инволюционирует в поле инертности, которое уже охватило политическое. (Противоположная энергия?) Следует быть осторожным и не воспринимать имплозию как негативный, инертный и регрессивный процесс, к чему нас побуждает язык, противопоставляя эволюцию и революцию. Имплозия — специфический процесс с непредсказуемыми последствиями. Май 68-го года был, без сомнения, первым имплозивным эпизодом, то есть, в противоположность своей трактовке в терминах революционной просопопеи, первой бурной реакцией на насыщение социального, ретракцией, вызовом гегемонии социального, вопреки идеологии самих участников, которые думали, что углубляются в социальное, — такова уж природа воображаемого, которое все еще доминирует над нами, — а впрочем, значительная часть событий 68-го еще смогла стать частью этой революционной динамики и взрывного насилия, но одновременно с этим тогда началось и другое: бурная инволюция социального в определенный момент и, как следствие, имплозия власти, внезапная и на коротком промежутке времени, которая, однако, с тех пор никогда не прекращалась, — потому что происходит в глубине: имплозия социального, имплозия институционализации, имплозия власти — а вовсе не какая-то неуловимая революционная динамика. Напротив, сама революция, идея революции также претерпевает имплозию, и эта имплозия способна вызвать наиболее тяжелые последствия, чем сама революция. Конечно, после 68-го года и благодаря 68-му социальное, подобно пустыне, разрастается, — участие в управлении, управленческий аппарат, общее самоуправление и т. д. — но вместе с тем во многих точках, которые многочисленнее чем в 68-м, оно приближается к своей отмене и своей полной реверсии. Еле различимые подземные толчки, воспринимаемые только историческим разумом.

 ГИПЕРМАРКЕТ И ГИПЕРТОВАР

 Повсюду в окрестности тридцати километров стрелки будут направлять вас к этим крупным сортировочным центрам, которыми являются гипермаркеты, к этому гиперпространству товара, где производится во многих отношениях новая социальность. Стоит посмотреть, как гипермаркет централизует и перераспределяет целый район вместе с его населением, как он концентрирует и рационализирует расписание дня, маршруты движения, поведение людей — создавая гигантское движение вперед и назад, чрезвычайно похожее на движение постоянных пользователей пригородным транспортом, которые в определенные часы поглощаются и выбрасываются обратно своим местом работы. По сути, речь здесь идет о совсем другом виде работы, о работе, построенной на аккультурации, конфронтации, экспертизе, социальной кодификации и вынесении общественного приговора: люди приходят, чтобы найти здесь и отобрать предметы-ответы на все вопросы, которые они могут поставить себе; или, скорее, они сами приходят в ответ на функциональные и управляемые запросы, которое представляют собой предметы. Предметы перестают быть товаром; они уже даже не знаки, смысл и сообщения которых можно было бы расшифровать и усвоить, они — тесты, это они спрашивают нас, а мы должны им отвечать, и ответ уже содержится в вопросе. Подобным образом функционируют все сообщения СМИ: ни информации, ни коммуникации, лишь референдум, бесконечный тест, циркулярная реакция, проверка кода. Нет ни рельефа, ни перспективы, ни точки схода, где мог бы затеряться взгляд, лишь всеобъемлющий экран, на котором рекламные щиты и сами продукты выступают в своей непрерывной экспозиции как эквивалентные знаки, последовательно сменяющие друг друга. Присутствует только персонал, который занимается исключительно тем, что восстанавливает авансцену — первые ряды выставленных товаров, там, где изъятие их потребителями могло создать небольшую брешь. Самообслуживание еще больше подчеркивает это отсутствие глубины: одно и то же однородное пространство объединяет, без посредничества, людей с вещами — пространство непосредственной манипуляции. Но кто манипулирует кем? Даже репрессия интегрируется как знак в этом мире симуляции. Репрессия, которая превратилась в разубеждение, становится лишь еще одним знаком в мире убеждения. Системы камер наблюдения сами являются частью антуража симулякров. Полное наблюдение за всеми точками потребовало бы более сложного и технически совершенного оборудования, чем сам магазин. Это было бы не рентабельно. Зато введена аллюзия на репрессию, механизм для подачи знака этого порядка; и этот знак может сосуществовать со всеми другими, даже с императивом противоположного содержания, например с тем, который выражают гигантские рекламные щиты, приглашающие вас расслабиться и в полном спокойствии выбирать товар. В действительности же эти билборды преследуют вас и наблюдают за вами в той же степени, как и «надзорное» телевидение. Последнее смотрит на вас, вы смотрите на себя в нем, в толпе среди других людей, это зеркало потребительской активности, прозрачное зеркало без амальгамы, игра с разделением пополам и удвоением, которая замыкает этот мир в себе самом. Гипермаркет неотделим от шоссе, которые окружают и питают его, от стоянок, усыпанных автомобилями, от компьютерных терминалов — и далее, в виде концентрических кругов, — всего города, который выступает как тотальный функциональный экран, на котором демонстрируют все виды деятельности. Гипермаркет похож на большой монтажный завод, за единственным исключением: вместо того, чтобы объединяться в производственную линию под действием постоянного рационального закона, агенты (или пациенты), подвижные и децентрализованные, переходят из одной точки линии к другой, как представляется, по алеаторной схеме. Расписание, выбор, покупка также алеаторные, в отличие от поведения на рабочем месте. Но речь идет все же о производственной линии, о запрограммированной дисциплине, требования которой скрыты под налетом толерантности, простоты и гиперреальности. В большей степени, чем традиционные институты капитала, гипермаркет уже стал моделью любой грядущей формы контролируемой социализации: скопление в одном гомогенном пространстве-времени всех разрозненных функций социального тела и жизни (работа, досуг, питание, средства гигиены, транспорт, медиа, культура), переписывание всех противоречивых тенденций в терминах интегрированных торговых сетей, пространство-время целой операциональной симуляции социальной жизни, всей жилой и транспортной структуры. Модель управляемой антиципации, гипермаркет (особенно в Соединенных Штатах) предшествует агломерации; он, собственно, и обуславливает агломерацию, тогда как традиционный рынок [маркет] размещался в центре поселения и был местом, где город и село встречались для общения и ведения дел. Гипермаркет — выражение целого образа жизни, из которого исчезло не только село, но и город, уступив место «агломерации» — полностью функционально разграниченного городского зонирования, насквозь пронизанного системой знаков, — эквивалентом, микромоделью которого он является на уровне потребления. Но роль гипермаркета выходит далеко за рамки потребления, и предметы теряют в нем свою специфическую реальность: то, что преобладает, так это — их серийная, циркулирующая, зрелищная внутренняя организация — будущая модель социальных взаимоотношений. «Модель» гипермаркета может, таким образом, помочь в понимании того, что подразумевается под концом модернизма. Крупные города были свидетелями возникновения, в течение приблизительно столетия (1850–1950), поколения «современных» универсамов (многие из них так или иначе имели в названии слово «современный»), но эта коренная модернизация, связанная с модернизацией транспорта, не нарушала структуру города. Города оставались городами, тогда как новые города превращаются в сателлиты гипермаркета или торгового центра, обслуживаемых запрограммированной транспортной сетью, и перестают быть городами, чтобы стать агломерациями. Появился новый морфогенез, который принадлежит к кибернетическому типу (то есть воспроизводящий на уровне территории, жилой зоны, зоны движения сценарии молекулярного управления, вытекающие из генетического кода) и по своей форме является ядерным и сателлитным. Гипермаркет в качестве ядра. Город, даже современный, уже не поглощает его. Именно гипермаркет определяет ту орбиту, по которой движется агломерация. Он служит имплантатом для выполнения новых функций, как это иногда бывает еще с университетом или заводом, — но не с заводом XIX века или заводом, вынесенным из центра, который, не разрушая орбиты города, размещается в пригороде, а со сборочным заводом с автоматизированным и с электронным управлением, т. е. с заводом полностью соответствующим детерриториализированному производственному процессу. В случае с этим заводом, так же как с гипермаркетом или новым университетом, мы больше не имеем дела с функциями (торговлей, работой, получением знаний, досугом), которые атомизируются и перемещаются в другое место (что характерно еще для «современного» развертывания города), но с моделью дезинтеграции функций, неопределенности функций и дезинтеграции самого города, который переносится за пределы города и рассматривается как гиперреальная модель, как ядро синтезированной агломерации, которая уже не имеет ничего общего с городом. Эта негативная сателлитизация города, обозначает его конец, даже города современного, как детерминированного, выраженного в качественной форме пространства, как оригинального синтетического продукта общества. Можно было бы считать, что эта имплантация отвечает рационализации разных функций. Но на самом деле с того момента, когда функция гиперспециализируется в такой степени, что ее можно спроектировать на местности с нуля и сдать сразу «под ключ», она теряет свою собственную цель и становится чем-то другим: многофункциональным ядром, комплексом из «черных ящиков» со сложной системой ввода-вывода, средоточием конвекции и деструктурации. Эти заводы и эти университеты больше не являются ни заводами, ни университетами, и гипермаркеты уже не имеют ничего общего с рынком. Они — чужеродные новые объекты, абсолютной моделью которых, несомненно, является атомная электростанция, которые излучают своего рода нейтрализацию территории, мощь апотропии, которая, скрываясь за внешней функцией этих объектов, безусловно, является их фундаментальной функцией: гиперреальностью функциональных ядер, которые больше не являются ими. Эти новые объекты являются полюсами симуляции, вокруг которых производится, в отличие от прежних станций, заводов или традиционных транспортных сетей, нечто иное, чем «современность»: гиперреальность, одновременность всех функций, без прошлого и без будущего, операциональность, направленная во все стороны. А также, несомненно, кризис или даже новые катастрофы: события мая 68-го года начинаются в Нантере, а не в Сорбонне, то есть в том месте, где впервые во Франции гиперфункционализация центра получения знаний «за городскими стенами» способствовала детерриториализации, потере интереса, потере функциональности и целесообразности этих знаний в программируемом неофункциональном целом. Именно здесь взяло свое начало новое, оригинальное насилие, ставшее ответом на орбитальную сателлитизацию модели (знания, культуры), чья референтность утрачена.

 ИМПЛОЗИЯ СМЫСЛА В СРЕДСТВАХ ИНФОРМАЦИИ

 Мы находимся в мире, в котором становится все больше и больше информации и все меньше и меньше смысла. В связи с этим возможны три гипотезы: — Либо информация продуцирует смысл (негэнтропийный фактор), но оказывается неспособной компенсировать жестокую потерю смысла во всех областях. Попытки повторно его инъецировать, через все большее число СМИ, сообщений и контентов оказываются тщетными: потеря, поглощение смысла происходит быстрее, чем его повторная инъекция. В этом случае следует обратиться к производительному базису, чтобы заменить терпящие неудачу СМИ. То есть к целой идеологии свободы слова, средств информации, разделенных на бесчисленные отдельные единицы вещания, или к идеологии «антимедиа» (радиопираты и т. д.). — Либо информация вообще ничего общего не имеет с сигнификацией. Это нечто совершенно иное, операционная модель другого порядка, внешнего по отношению к смыслу и его циркуляции. Такова, в частности, гипотеза К. Шеннона, согласно которой сфера информации, сугубо инструментальная, техническая среда, не предполагает никакого конечного смысла и поэтому также не должна участвовать в оценочном суждении. Это разновидность кода, такого как генетический: он является тем, что он есть, он функционирует так, как функционирует, а смысл — это что-то иное, что появляется, так сказать, после факта, как у Моно в работе «Случайность и необходимость». В этом случае, просто не было бы никакой существенной связи между инфляцией информации и дефляцией смысла. — Либо, напротив, между этими двумя явлениями существует жесткая и необходимая корреляция в той мере, в какой информация непосредственно разрушает или нейтрализует смысл и сигнификацию. Тем самым оказывается, что утрата смысла напрямую связана с разлагающим, разубеждающим действием информации, средств информации и средств массовой информации. Это наиболее интересная гипотеза, однако она идет вразрез с общепринятым мнением. Социализацию повсеместно измеряют через восприимчивость к сообщениям СМИ. Десоциализированным, а фактически асоциальным является тот, кто недостаточно восприимчив к средствам информации. Информация везде, как полагают, способствует ускоренному обращению смысла и создает прибавочную стоимость смысла, аналогичную той, которая имеет место в экономике и получается в результате ускоренного обращения капитала. Информацию рассматривают как создательницу коммуникации, и, несмотря даже на огромные непроизводственные затраты, существует общий консенсус относительно того, что мы имеем дело все же с ростом смысла, который перераспределяется во всех промежутках социального — точно так же, как существует консенсус относительно того, что материальное производство, несмотря на сбои и иррациональность, все же ведет к росту благосостояния и социальной гармонии. Мы все причастны к этому устойчивому мифу. Это — альфа и омега нашей современности, без которых было бы подорвано доверие к нашей социальной организации. И, однако, факт состоит в том, что оно-таки подорвано, причем именно по этой самой причине: там, где, как мы полагаем, информация производит смысл, происходит обратное. Информация пожирает свой собственный контент. Она пожирает коммуникацию и социальное. И это происходит по двум причинам: 1. Вместо того, чтобы создавать коммуникацию, информация исчерпывает свои силы в инсценировке коммуникации. Вместо того, чтобы производить смысл, она исчерпывает свои силы в инсценировке смысла. Перед нами очень знакомый гигантский процесс симуляции. Неподготовленные интервью, телефонные звонки зрителей и слушателей, всевозможная интерактивность, словесный шантаж: «Это касается вас, событие — это вы и т. д.». Во все большее количество информации вторгается этот вид призрачного контента, этого гомеопатического прививания, эта мечта пробудить коммуникацию. Круговая схема, в которой на сцене разыгрывают то, чего желает аудитория, антитеатр коммуникации, который, как известно, всегда является лишь повторным использованием через отрицание традиционного института, интегрированной отрицательной схемой. Огромная энергия, направленная на удержание симулякра на расстоянии, чтобы избежать внезапной диссимуляции, которая поставила бы нас перед очевидной реальностью радикальной потери смысла. Бесполезно выяснять, потеря ли коммуникации ведет к этой эскалации в пределах симулякра, или это симулякр, который первым появляется здесь с целью апотропии, с целью заранее воспрепятствовать любой возможности коммуникации (прецессия модели, которая кладет конец реальному). Бесполезно выяснять что первоначально, ни то и ни другое, потому что это циклический процесс — процесс симуляции, процесс гиперреального. Гиперреальность коммуникации и смысла. Более реальное, чем само реальное, — вот так оно и упраздняется. Таким образом, не только коммуникация, но и социальное функционируют в замкнутом цикле, как соблазн, к которому приложена сила мифа. Доверие, вера в информацию присоединяется к этому тавтологическому доказательству, которое система предоставляет о самой себе, дублируя в знаках неуловимую реальность. Однако можно предположить, что эта вера столь же неоднозначна, как и вера, сопровождающая мифы в архаичных обществах. В них верили и не верили. Никто не терзается сомнениями: «Я знаю точно, и все же…». Этот вид обратной симуляции возникает в массах, в каждом из нас, в ответ на симуляцию смысла и коммуникации, в которой нас замыкает эта система. В ответ на тавтологичность системы возникает амбивалентность масс, в ответ на апотропию — недовольство или до сих пор загадочное верование. Миф продолжает существовать, однако не стоит думать, что люди верят в него: именно в этом кроется ловушка для критической мысли, которая может работать лишь исходя из предположения о наивности и глупости масс. 2. В дополнение к этому, чрезмерной инсценировкой коммуникации СМИ усиленно добиваются информацией непреодолимой деструктуризации безотзывного социального. Так информация разлагает смысл, разлагает социальное, превращает их в некую туманность, обреченную вовсе не на рост нового, а наоборот, на тотальную энтропию. Таким образом, средства массовой информации — это движители не социализации, а как раз наоборот, имплозии социального в массах. И это лишь макроскопическое расширение имплозии смысла на микроскопическом уровне знака. Эту имплозию следует проанализировать, исходя из формулы Маклюэна «medium is the message» (средства коммуникации — это и есть сообщение), возможные выводы из которой еще далеко не исчерпаны. Она означает, что все контенты смысла поглощаются единственной доминирующей формой медиа. Одни лишь медиа-средства являются событием — безотносительно содержания, конформистского или субверсивного. Серьезная проблема для любой контринформации, радиопиратов, антимедиа и т. д. Однако существует еще более серьезная проблема, которую сам Маклюэн не обнаружил. Ведь за пределами этой нейтрализации всех контентов можно было бы надеяться на то, что медиа еще будут функционировать в своей форме, и что реальное можно будет трансформировать под влиянием медиа как формы. Если весь контент будет упразднен, останется, возможно, еще революционная и субверсивная ценность использования медиа как таковых. Следовательно, — и это то, к чему в своем предельном значении ведет формула Маклюэна, — происходит не только лишь имплозия сообщения в медиа, но, в том же самом движении, происходит и имплозия медиа в реальном, имплозия медиа и реального в некий род гиперреальной туманности, в которой больше неразличимы определение и собственное действие медиа. Даже «традиционный» статус самих СМИ, характерный для современности, поставлен под сомнение. Формула Маклюэна: медиа — это сообщение, являющаяся ключевой формулой эры симуляции (медиа является сообщением — отправитель является адресатом, замкнутость всех полюсов — конец перспективного и паноптического пространства — таковы альфа и омега нашей современности), сама эта формула должна рассматриваться в своем предельном выражении, то есть: после того как все контенты и сообщения испарятся в медиа, сами медиа исчезнут как таковые. В сущности, это еще благодаря сообщению медиа приобретают признаки достоверности, это оно предоставляет медиа их определенный, отчетливый статус посредника коммуникации. Без сообщения медиа сами попадают в неопределенность, присущую всем нашим системам анализа и оценки. Лишь модель, действие которой является непосредственным, порождает сразу сообщение, медиа и «реальное». Наконец, «медиа — это сообщение», означает не только конец сообщения, но и конец медиа. Больше нет медиа в буквальном смысле слова (я имею в виду, прежде всего электронные средства массовой информации), то есть инстанции, которая была бы посредником между одной реальностью и другой, между одним состоянием реального и другим. Ни по содержанию, ни по форме. Собственно, это то, что и означает имплозия. Взаимопоглощение полюсов, короткое замыкание между полюсами любой дифференциальной системы смысла, стирание четких границ и оппозиций, включая оппозицию между медиа и реальным, — следовательно, невозможность любого опосредствованного выражения одного другим или диалектической зависимости одного от другого. Циркулярность всех эффектов медиа. Следовательно, невозможность смысла в значении одностороннего вектора, идущего от одного полюса к другому. Необходимо до конца проанализировать эту критическую, но оригинальную ситуацию: это единственное, что остается нам. Бесполезно мечтать о революции через содержание, тщетно мечтать о революции через форму, потому что медиа и реальное составляют отныне единую туманность, истина которой не поддается расшифровке. Факт этой имплозии контентов, поглощения смысла, исчезновения самих медиа, резорбции любой диалектики коммуникации в тотальной циркуляции модели, имплозии социального в массах может показаться катастрофическим и отчаянным. Однако это выглядит так лишь в свете идеализма, который полностью доминирует в нашем представлении об информации. Мы все пребываем в неистовом идеализме смысла и коммуникации, в идеализме коммуникации посредством смысла, и в этой перспективе нас как раз и подстерегает катастрофа смысла. Однако следует понимать, что термин «катастрофа» имеет «катастрофическое» значение конца и уничтожения лишь при линейном видении накопления, влекущего за собой завершенность, которое навязывает нам система. Сам термин этимологически означает всего-навсего «заворот», «сворачивание цикла», которое приводит к тому, что можно было бы назвать «горизонтом событий», к горизонту смысла, за пределы которого невозможно выйти: по ту сторону нет ничего, что имело бы для нас значение, — однако достаточно выйти из этого ультиматума смысла, чтобы сама катастрофа уже больше не являлась последним днем расплаты, в качестве которой она функционирует в нашем современном воображаемом. За горизонтом смысла — завороженность, являющаяся результатом нейтрализации и имплозии смысла. За горизонтом социального — массы, представляющие собой результат нейтрализации и имплозии социального. Главное сегодня — оценить этот двойной вызов — вызов смысла, брошенный массами и их молчанием (которое вовсе не является пассивным сопротивлением) — вызов смысла, который исходит от средств информации и их гипноза. Все попытки, маргинальные и альтернативные, воскресить какую-то частицу смысла, выглядят по сравнению с этим как второстепенные. Совершенно очевидно, что в этом сложном соединении масс и средств информации кроется некий парадокс: или это СМИ нейтрализуют смысл и продуцируют «бесформенную» [informe] или информированную [informee] массу, или это массы удачно сопротивляются средствам информации, отвергая или поглощая без ответа все сообщения, которые те продуцируют? Ранее, в «Реквиеме по массмедиа», я проанализировал и описал СМИ как институт ирреверсивной модели коммуникации без ответа. А сегодня? Это отсутствие ответа можно понять уже не как стратегию власти, а как контрстратегию самих масс, направленную против власти. Что в таком случае? Находятся ли СМИ на стороне власти, манипулируя массами, или они на стороне масс и занимаются ликвидацией смысла, творя не без доли наслаждения насилие над ним? Вводят ли медиа массы в состояние гипноза, или это массы заставляют медиа превращаться в бессмысленное зрелище? Могадишо-Штаммхайм: СМИ сами себя превращают в средство морального осуждения терроризма и эксплуатации страха в политических целях, но, одновременно с этим, в совершеннейшей двусмысленности, они распространяют бесчеловечное очарование терактом, они сами и есть террористы, поскольку сами подвержены этому очарованию (вечная моральная дилемма, ср. Умберто Эко: как избежать темы терроризма, как найти правильный способ использования средств информации — если его не существует). СМИ несут смысл и контрсмысл, они манипулируют во всех направлениях сразу, этот процесс никто не может контролировать, они — средства внутренней по отношению к системе симуляции, и симуляции, которая разрушает систему, что в полной мере соответствует ленте Мебиуса и логике кольца — они в точности с ней совпадают. Этому не существует ни альтернативы, ни логического решения. Лишь логическое обострение и катастрофическое разрешение. С одной поправкой. Мы находимся один на один с этой системой в раздвоенном и неразрешимом положении «двойной связи» — точно так, как дети один на один с требованиями взрослого мира. От них требуют одновременно становиться самостоятельными, ответственными, свободными и сознательными субъектами и быть покорными, инертными, послушными, что соответствует объекту. Ребенок сопротивляется по всем направлениям и на противоречивые требования также отвечает двойной стратегией. Требованию быть объектом он противопоставляет все возможные варианты неповиновения, бунта, эмансипации, словом, самые настоящие претензии субъекта. Требованию быть субъектом он так же упорно и эффективно противопоставляет сопротивление, присущее объекту, то есть совсем противоположное: инфантилизм, гиперконформизм, полную зависимость, пассивность, идиотизм. Ни одна из двух стратегий не имеет большей объективной ценности, чем другая. Сопротивление субъекта сегодня однобоко ценится выше и рассматривается как положительное — так же, как в политической сфере лишь поведение, направленное на освобождение, эмансипацию, самовыражение, становление в качестве политического субъекта, считается достойным и субверсивным. Это означает игнорирование влияния, такого же и, безусловно, гораздо более значительного, поведения объекта, отказ от позиции субъекта и осознания — именно таково поведение масс, — которые мы предаем забвению под пренебрежительным термином отчуждения и пассивности. Поведение, направленное на освобождение, отвечает одному из аспектов системы, постоянному ультиматуму, который выдвигается нам с тем, чтобы представить нас в качестве чистых объектов, но он отнюдь не отвечает другому требованию, которое заключается в том, чтобы мы становились субъектами, чтобы мы освобождались, чтобы мы самовыражались любой ценой, чтобы мы голосовали, вырабатывали, принимали решение, говорили, принимали участие, участвовали в игре, — этот вид шантажа и ультиматума, используемый против нас так же серьезен, как первый, еще более серьезен, без сомнения, в наше время. В отношении системы, чьим аргументом является притеснение и подавление, стратегическое сопротивление представляет собой освободительные притязания субъекта. Но это отражает, скорее, предшествующую фазу системы, и даже если мы все еще находимся с ней в состоянии афронта, то это уже не является стратегической областью: актуальным аргументом системы является максимизация слова, максимизация производства смысла. А значит, и стратегическое сопротивление — это отказ от смысла и от слова — или же гиперконформистская симуляция самих механизмов системы, также представляющая собой форму отказа и неприятия. Это стратегия масс и она равнозначна тому, чтобы вернуть системе ее собственную логику через ее удвоение, и смысл, словно отражение в зеркале — не поглотив его. Эта стратегия (если еще можно говорить о стратегии) преобладает сегодня, ведь она вытекает из преобладающей фазы системы. Ошибиться с выбором стратегии — это серьезно. Все те движения, которые делают ставку лишь на освобождение, эмансипацию, возрождение субъекта истории, группы, слова, на сознательность (точнее бессознательность) субъектов и масс, не видят того, что они находятся в русле системы, чьим императивом сегодня является как раз перепроизводство и регенерация смысла и слова.

 АБСОЛЮТНАЯ РЕКЛАМА — НУЛЕВАЯ РЕКЛАМА

 То, что мы сейчас наблюдаем, — это абсорбция всех возможных способов выражения в том способе выражения, которым является реклама. Все оригинальные формы культуры, все детерминированные разновидности языка поглощаются ей, потому что она лишена глубины, мимолетна и тут же забывается. Триумф поверхностной формы, наименьшего общего знаменателя всех значений, нулевой степени смысла, триумф энтропии над всеми возможными тропами. Низшая форма энергии знака. Эта форма, невнятная, мгновенная, без прошлого, без будущего, без шанса на трансформацию, потому является конечной формой, имеет власть над всеми другими. Все современные виды деятельности тяготеют к рекламе, и большинство из них исчерпываются в ней. Не обязательно именно в номинальной рекламе, производимой как таковая, — но в рекламной форме, упрощенной операционной модели, немного соблазнительной, немного консенсуальной (в ней смешаны все качества, но в вялой, лишенной силы форме). В более общем плане, рекламная форма — это та форма, в которой все отдельные смыслы аннулируются в тот самый момент, когда они получают возможность транскрибироваться друг в друга, тогда как особенностью «сложных» высказываний, имеющих форму и смысл (или стиль) является то, что они не могут выражаться друг через друга, не в большей степени, чем это требуют правила игры. Этот долгий путь к переводимости и таким образом к полной сочетаемости, которая представляет собой сочетаемость поверхностной прозрачности всех вещей на свете, путь к абсолютной рекламе (в отношении которой профессиональная реклама является лишь еще одной эпизодической формой), можно проследить через перипетии пропаганды. Реклама и пропаганда приобретают свой полный размах начиная со времен Октябрьской революции и мирового кризиса 1929 года. Обе являются языком масс, порожденные массовым производством идей или товаров, поэтому их регистры, сначала раздельные, тяготеют к постепенному сближению. Пропаганда превращается в маркетинг и мерчандайзинг стержневых идей, политических деятелей и партий с их «репутациями» и «брендами». Пропаганда сближается с рекламой в тот момент, когда она начинает использовать стержневую идею этого общества конкуренции: товар и марку, с той разницей, что рекламирует не автомобильные модели, а идеологии. Это сближение определяет природу общества (нашего общества), в котором больше не существует разницы между экономическим и политическим, ведь в нем повсюду властвует один и тот же язык, такого общества, в котором политическая экономия, в буквальном смысле, реализовалась, наконец, в полной мере. То есть растворилась как специфическая инстанция (как историческая форма социального конфликта), нашла свое решение, абсорбировалась в языке без противоречий, как во сне, потому что испытала лишь внешнюю напряженность. Следующий период начинается тогда, когда сам язык социального, после того как это сделал язык политического, начинает совпадать с этим гипнотическим и навязчивым языком агитации, когда социальное начинает рекламировать себя, начинает добиваться широкого признания, пытаясь навязать свой имидж и бренд. С уровня исторического выбора, каким оно было, социальное само опустилось на уровень «совместного предприятия», которое обеспечивает свою всестороннюю рекламу. Только посмотрите, какой прирост социального пытается создать любая его реклама: werben werben (реклама, реклама) — настоятельный призыв социального присутствует повсюду на стенах, в теплых и безжизненных голосах женщин-дикторов, в низких и высоких звуках фонограмм и в красочных видеоизображениях, которые всюду прокручиваются перед нами. Всюду сущая социальность, абсолютная социальность, реализованная, наконец, в абсолютной рекламе — то есть так же полностью аннулированная, галлюцинация социальности, которая осталась на всех стенах в упрощенной форме требования социального и на которую немедленно откликается рекламное эхо. Социальное как сценарий, недоуменной аудиторией которого являемся мы. Таким образом, рекламная форма навязала себя и развилась за счет всех других разновидностей языка, как риторика, которая становилась все более нейтральной, более ровной, бесстрастной, как «асинтаксическая туманность» по выражению Ива Стурдзе, которая окутывает нас со всех сторон (и устраняет заодно такую дискуссионную проблему «убеждения» и эффективности: она не предлагает привлечения новых означаемых, она предлагает упрощенную эквивалентность всех ранее отличительных знаков, блокируя процессы сигнификации самой эквивалентности). Этим определяются границы нынешней власти рекламы и условия ее исчезновения, ведь реклама уже не самоцель, потому что когда она «вошла в привычку», то сразу же вышла из той социально-нравственной драматургии, какой она была еще двадцать лет назад. Дело не в том, что люди больше не верят ей или начали воспринимать ее как рутину. Дело в том, что если до сих пор она завораживала этой силой упрощения всех разновидностей языка, то эта сила у нее сегодня отобрана другим типом языка, еще более упрощенным, а, следовательно, более эффективным: языком программирования. Модель, построенная на использовании эпизода, аудио и видео, та модель, которую предлагает нам реклама вместе с другими СМИ — модель комбинаторного выравнивания всех предлагаемых рекламой дискурсов — этот еще до сих пор риторический континуум звуков, знаков, сигналов, лозунгов, из которого она выстраивает тотальную окружающую среду, намного опережают, именно в плане симулятивной функции, магнитные носители и электронный континуум, который возникает в конце этого столетия. Микропроцессоры, цифровое выражение, кибернетические языки идут гораздо дальше в том же направлении к абсолютному упрощению процессов, чем это делала реклама на своем скромном уровне, еще не лишенном воображения и зрелищности. И именно потому, что эти системы идут дальше, они притягивают сегодня то очарование, которое когда-то выпадало на долю рекламы. Именно информация, в том смысле, в котором этот термин употребляется в информатике, положит конец, собственно, уже кладет конец господству рекламы. Вот что наводит ужас, вот что восхищает. Рекламная «страсть» переместилась в сторону компьютеров и компьютерной миниатюризации повседневной жизни. Предвосхищающей иллюстрацией этой трансформации была папула К. Ф. Дика, этот полупроводниковый рекламный имплантат, некий передатчик, электронный паразит, который цепляется к телу и от которого очень трудно избавиться. Но папула лишь переходная форма: хоть это уже и нечто похожее на введенный в тело протез, но он еще на все лады повторяет рекламные сообщения. Поэтому это гибрид, а также прообраз психотропных и информационных систем автоматического управления индивидами, рядом с которым «психологическая обработка» рекламой выглядит как изысканное приключение. Наиболее интересным на сегодня аспектом рекламы является ее исчезновение, ее дисперсия как специфической формы или просто как медиа. Она уже не является (и была ли когда-нибудь?) средством коммуникации или информации. Или же ее охватило это специфическое для чрезмерно развитых систем неистовство ежесекундно добиваться признания, и, следовательно, превращаться в пародию на самих себя. Если в определенный момент товар был своей собственной рекламой (другой не было), то сегодня реклама стала своим собственным товаром. Она смешивается сама с собой (и эротизм, который она себе избрала в качестве формы, является только показателем аутоэротизма системы, которая занимается лишь тем, что обращается к себе самой, — откуда и абсурдность видеть в нем «отчуждение» женского тела). Как медиа, которые стали своим собственным сообщением (вследствие чего отныне существует спрос на рекламу для нее самой, а значит вопрос о том, «верить» ей или нет, уже даже не стоит), реклама полностью согласуется с социальным, историческая необходимость которого оказалась поглощенной просто лишь спросом на социальное — спросом на функционирование социального как отдельного предприятия, как комплекса услуг, как образа жизни или выживания (необходимо спасать социальное так же, как необходимо беречь природу: социальное является нашей экологической нишей), — тогда как раньше оно в самом своем проекте имело революционный характер. Все это утрачено: социальное потеряло саму эту возможность создавать иллюзии, опустившись в регистр предложения и спроса, так же как работа перешла из категории силы, антагонистической капиталу, в простую категорию занятости, то есть стала товаром (в определенных случаях редчайшим) или услугой, такой как другие. Поэтому можно организовать рекламу работы, радости от найденной работы, так же как можно организовать рекламу социального. Именно здесь присутствует сегодня истинная реклама: в конструировании социального, в экзальтации социального во всех его формах, в настойчивом, упрямом призыве к социальному, потребность в котором остро дает о себе знать. Фольклорные танцы в метро, бесчисленные кампании по повышению уровня безопасности, лозунг «Завтра я буду работать» сопровождающийся улыбкой, которая раньше предназначалась для досуга, — и реклама выборов комиссий по трудовым спорам: «Я никому не позволю выбирать за меня», — гротескный лозунг, достойный короля Убю, такой выразительно фальшивый, в поддержку смехотворной свободы, свободы реализовывать социальное в самом его отрицании. Это не случайно, что реклама, после того как она долгое время была носителем скрытого ультиматума экономического типа, по сути, провозглашая и повторяя без усталости: «Я покупаю, я потребляю, я наслаждаюсь», — повторяется сегодня в других формах: «Я голосую, я участвую, я присутствую, я проявляю заинтересованность», — зеркало парадоксального глумления, зеркало индифферентности всякой общественной значимости. Антипаника: известно, что социальное может раствориться в панической реакции, неконтролируемой цепной реакции. Но оно может раствориться также в обратной реакции, цепной реакции инертности, когда каждый микромир достигает состояния насыщения, саморегулирующийся, информатизированный, изолированный в своем автоматическом управлении. Реклама является прообразом этого процесса: первым проявлением непрерывного потока знаков, подобного телетайпной ленте, — каждый изолирован в своей инертности. Пока еще целый, но уже переполненный. Сохраняющий форму, но готовый лопнуть по швам. Именно вот в таком мире набирает силу то, что Вирильо называет эстетикой исчезновения. И тут начинают появляться фрактальные, расчлененные объекты, фрактальные формы, зоны разломов, обусловленные перенасыщением, а, следовательно, процессом массового отвержения, абреакции или оцепенения общества, прозрачного лишь для самого себя. Подобно знакам в рекламе, мы делимся, становимся невидимыми и неисчислимыми, полупрозрачными или ризомообразными, чтобы только избежать точки инерции, — выходим на орбиту, разветвляемся, превращаемся в спутники, в архивный фонд — линии перекрещиваются и переплетаются: существует лента с записью фонограммы, лента с записью изображения, так же как в жизни существует лента с записью работы, лента с записью досуга, лента с записью транспорта и т. д., и все это завернуто в ленту с записью рекламы. Всюду существует три или четыре линии, и мы стоим на распутье. Поверхностное насыщение и очарование. Ведь есть еще очарование. Стоит лишь взглянуть на Лас-Вегас, город абсолютной рекламы (пятидесятые года — безумное времени для рекламы, и Лас-Вегас еще сохранил шарм той эпохи, хотя сегодня это и выглядит в стиле ретро, ведь реклама втайне обречена на то, что на смену ей придет программная логика, которая приведет к городам совсем другого типа). Когда видишь, как весь Лас-Вегас в сиянии рекламы поднимается из пустыни на закате и возвращается в пустыню на рассвете, становится ясно, что реклама — это не то, что оживляет или украшает стены, это то, что стирает стены, стирает улицы, фасады и остальную архитектуру, стирает любую основу и любую глубину, и именно это уничтожение, эта резорбция всего, что есть на поверхности (безразлично, какие знаки циркулируют на ней), погружает нас в эту впечатляющую, гиперреальную эйфорию, которую мы не променяли бы ни на что другое и которая представляет собой пустую и завершенную форму соблазна. И тогда язык подвергается своей копии и вкладывает все наилучшее и все наихудшее в призрак рациональности, формулой которого является: «Все должны верить этому». Вот то сообщение, которое нас объединяет. /Ж. Л. Бут. Разрушитель интенсивности/ Итак, реклама, а так же информация, разрушает интенсивность, ускоряет инертность. Только посмотрите, как все ухищрения смысла и бессмыслицы повторяются в ней до изнеможения, как все процедуры, все средства языка коммуникации (функция общения: Вы слышите меня? Вы видите меня? Говорите! — референциальная функция, даже поэтическая аллюзия, ирония, игра слов, бессознательное), как все это выставляется напоказ точно так, как секс в порнографии, то есть без веры в происходящее, с той самой утомленной непристойностью. Вот почему отныне бесполезно рассматривать рекламу как язык, ведь в ней имеет место обратное: дублирование языка (равно как и образов), которому не соответствуют ни лингвистика, ни семиотика, потому что они имеют дело с действительным функционированием смысла, совершенно не вникая в эту карикатурную избыточность всех функций языка, в этот выход на огромное поле, на котором высмеиваются знаки, как говорят, «пущенные в расход», во время их высмеивания, ради их высмеивания и коллективного созерцания их игры, лишенной цели, — так же как порнография является гипертрофированной иллюзией секса, пущенного в расход при его высмеивании, ради его высмеивания, коллективным созерцанием суетности секса в его барочном исполнении (именно барокко изобрело это триумфальное высмеивание посредством имитации, фиксируя крах религиозного в оргазме статуй). На какое время приходится «золотой век» рекламного проекта? На время экзальтации объекта с помощью видеоряда, экзальтации процесса приобретения и потребления посредством чрезмерных рекламных расходов? Какой бы ни была степень подчиненности рекламы капиталу (но этот аспект — вопрос социально-экономического воздействия рекламы — всегда оставался без решения и является, в сущности, неразрешимым), она всегда была больше, чем подчиненной функцией, она была зеркалом, обращенным миру политической экономии и торговли, она была некоторое время его славным мнимым, воображаемым мира, трещащего по швам, но расширяющегося. Но мир товара больше таковым не является: это мир перенасыщения и инволюции. Он одним разом потерял свое триумфальное воображаемое, и из зеркальной стадии перешел, так сказать, в траурную стадию. Сцены для товара больше не существует: от нее осталась только непристойная и пустая форма. И реклама как раз и является иллюстрацией этой формы, насыщенной и пустой. Именно поэтому у рекламы больше нет территории. Ее регенерируемые формы больше не имеют какого-либо смысла. Так, например, подземный коммерческий центр Форум-дез-Аль в Париже — это гигантский рекламный комплекс и операция по рекламности. Это не реклама конкретного человека или фирмы, и по статусу это ни настоящий торговый центр, ни архитектурный ансамбль, как и Бобур, не являющийся, по своей сути, культурным центром: эти странные объекты, эти супергаджеты демонстрируют лишь то, что наша социальная монументалистика превратилась в рекламную. И именно такие вещи как Форум лучше всего иллюстрируют то, во что превратилась реклама, во что превратилось общественное достояние. Товар похоронен, как и информация, в архивах, как архивы в бункерах, как ракеты с ядерными зарядами в своих пусковых шахтах. Конец процветанию торговли, отныне она прячется от солнечного света, отчего становится похожей на человека, потерявшего свою тень. И Форум-дез-Аль напоминает похоронное бюро — мрачная роскошь похороненного товара, сквозь которую пробивается черное солнце. Саркофаг товара. Здесь все отдает склепом, все в мраморе — белом, черном, светло-розовом. Бункер-кейс в глубине пафосного, матово-черного подземного пространства. Полное отсутствие жидкости, нет даже чего-то подобного водному занавесу в Парли 2, создающего, по крайней мере, оптическую иллюзию, — здесь нет даже какого-нибудь развлекательного сектора, один лишь претенциозный траур царит на сцене. (Единственная занятная идея комплекса касается как раз человека и его тени, которая будто движется по вертикальной бетонной плите: гигантское полотно красивого серого цвета неба, выступающее в качестве фона и обрамления для оптической иллюзии, эта стена выглядит живой против собственной воли, контрастируя с семейным склепом высокой моды и готовой одежды, которым является Форум. Эта тень превосходна, потому что она является контрастной аллюзией на расположенный ниже мир, который потерял свою тень.) Все, чего можно было бы пожелать — чтобы публика получила доступ к этому священному месту (вспомните тяжелый гул вагонов экспресс-метро, проходящего под Форумом), а затем, опасаясь как бы загрязнение не испортило его безвозвратно, закрыли бы доступ к Форуму, как к гротам Ласко, и укрыли бы непроницаемым саваном, чтобы сохранить нетронутым это свидетельство о цивилизации, которая достигла, пройдя стадию апогея, стадии гипогея товара. Это было бы что-то вроде фрески, которая воссоздает долгий путь, пройденный от первобытного человека, минуя Маркса и Эйнштейна, к Доротее Бис… Почему бы не сохранить эту фреску нетленной? Потом спелеологи обнаружат ее, вместе с культурой, которая решила похоронить себя, чтобы окончательно избавиться от своей тени, похоронить свои соблазны и свои фантазии, так, будто они уже были предназначены для иного мира.

 ИСТОРИЯ КЛОНОВ

 Из всех протезов, которыми обозначена история тела, двойник, без сомнения, самый древний. Но двойник, в строгом смысле, как раз и не протез: это воображаемая фигура, которая, будучи душой, тенью, отражением в зеркале, преследует, словно нечто себе подобное, подвластный ей субъект, так что он, оставаясь самим собой, навсегда теряет свою суть, преследует в образе ощутимой и всегда предотвращаемой смерти. Впрочем, эту смерть не всегда можно предотвратить: когда двойник материализуется и становится видимым, он несет неминуемую гибель. Иначе говоря, мнимая сила и блеск двойника, которая заставляет подчиненного субъекта ощущать одновременно и отчуждение от самого себя и близость к самому себе (потаенную/тревожную), основывается на его нематериальности, на том, что двойник был и остается фантазмом. Каждый из нас волен мечтать и, вероятно, мечтал всю жизнь о дублировании или совершенном размножении своего существа, но это остается всего лишь мечтой и разрушается, как только мечта пытается воплотиться в реальность. То же самое можно наблюдать и в сцене обычного обольщения: оно возможно лишь тогда, когда воплощается в образы, в воспоминания, не обретая при этом формы реальности. Предназначением нашего времени было изгнание этого фантазма, как и всех других. Это означало придать ему материальную сущность из плоти и крови и, что является уже полной бессмыслицей, изменить игру двойника посредством изощренной подмены смерти с присущим ей стремлением к Другому вечностью Того же Самого. Клоны. Клонирование. Черенкование людей до бесконечности, когда каждая клетка индивидуального организма может стать матрицей для идентичного индивидуума. В Соединенных Штатах несколько месяцев назад будто родился ребенок таким же образом, как размножают герань — черенкованием. Первый ребенок-клон (создание индивидуума посредством вегетативного размножения). Первый человек, который родился из одной клетки одного индивидуума, своего «отца», единственного производителя, относительно которого он должен стать точным слепком, абсолютным двойником, копией. Мечта о вечном полном подобии, которое подменило бы половое размножение, связанное со смертью. Мечта о размножении путем деления клеток, чистейшая форма происхождения, ведь она позволяет, наконец, обойтись без другого и двигаться от подобного к подобному (необходимо еще пройти через матку женщины и через очищенную яйцеклетку, но это материальное средство эфемерно и, как бы, анонимно: его мог бы заменить и женский протез). Одноклеточная утопия, которая с помощью генетики открывает сложным существам доступ к судьбе, предназначенной для простейших. Не импульс ли смерти толкает разнополые существа вернуться к форме размножения, предшествующей половой? (Впрочем, именно форма размножения делением, это воспроизводство и умножение через непосредственный контакт не является ли для нас, в самой глубине нашего воображаемого, смертью и импульсом смерти — тем, что отрицает нашу сексуальность и стремится уничтожить ее, поскольку сексуальность является носителем жизни, то есть критической и смертной формой воспроизведения?) Не этот ли импульс в метафизическом плане противиться любому изменению, любому искажению Того же Самого и стремится лишь к увековечению идентичности, к прозрачности генетического кода, пусть даже более подверженной перипетиям зарождения? Но отвлечемся от импульса смерти. Может быть, речь идет о фантазме порождения самого себя? Нет, ибо порождение всегда проходит через образы матери и отца, образы родителей, наделенных половыми клетками. Субъект может мечтать о том, чтобы стереть эти образы, подменяя их самими собой, но он не в силах опровергнуть символическую структуру воспроизводства: стать своим собственным ребенком, а это значит — оставаться ребенком кого-то другого. Клонирование же радикально устраняет Мать и Отца, сочетание их генов, смешение их различий, но, главным образом, двойственность акта, являющего собой зарождение. Тот, кто вступает на путь клонирования, не порождает самого себя; он пускает почки от каждого своего сегмента. Можно рассчитывать на богатство этих вегетативных ответвлений, которые действительно решают проблему эдиповой сексуальности в пользу «нечеловеческого» секса, секса, состоящего в простом соприкосновении и в незамедлительном делении. Таким образом, о фантазме порождения самого себя речи идти не может. Отец и Мать исчезли, но не в пользу алеаторной свободы субъекта, а в пользу матрицы, именуемой кодом. Нет более ни матери, ни отца: есть только матрица. И именно она, матрица генетического кода, отныне и навек занимается «деторождением» операционным способом, очищенным от какой бы то ни было случайной сексуальности. Нет более и самого субъекта, так как идентичное удвоение кладет конец его раздвоенности. Стадия зеркала исчезла в клонировании или, скорее, осталась там в качестве чудовищной пародии. Точно также клонирование не оставляет ничего и от древней нарциссической мечты субъекта осуществить проекцию в свое идеальное alter ego [ «второе я»], так как эта проекция проходит через еще одно изображение: изображение в зеркале, глядя на которое субъект испытывает отчуждение от самого себя, вновь обретая затем свой образ, или же изображение обольстительное и смертельное, в котором субъект видит себя и затем умирает. Ничего этого не существует в клонировании. Нет ни медиума, ни изображения его — не более, чем отражения одним промышленным товаром серийного производства другого, который произведен вслед за первым. Одно никогда не становится идеальным или смертельным миражом другого, одно и другое могут лишь дополнять друг друга, а если они не способны ни на что, кроме взаимного дополнения, то это потому, что были рождены неполовым путем, и смерть им неведома. Речь идет даже не о близнецах, астрологических или природных, ибо у тех имеются свои особые свойства, особое священное очарование того, что существует Вдвоем, что изначально было двойней и никогда — единицей. Тогда как клонирование освящает повторение Того же Самого: 1+1+1+1+ и т. д. Не будучи ни ребенком, ни близнецом, ни нарциссическим отражением, клон — это материализация двойника генетическим путем, иначе говоря — отмена, уничтожение всех возможных изменений и всего нереального. Материализация, которую ошибочно принимают за экономию сексуальности. Бредовый апофеоз производственной технологии. Сегмент нуждается в нереальном посредничестве для самовоспроизводства не больше, чем земляной червь: каждый сегмент червя воспроизводится самостоятельно, так же, как и целый червь, как любая ячейка американского PDG может воспроизводить новый PDG, как каждый фрагмент голограммы может стать матрицей всей голограммы: в каждом отдельном фрагменте голограммы информация остается полной, может быть, лишь с поправкой на минимальную разрешающую способность. Именно так приходит конец целостности. Если вся информация содержится в каждой из частей, то их соединение теряет свой смысл. Это также и конец тела, всего того многообразия, которое именуется телом, чей секрет как раз в том, что оно не может быть разделено на взаимно дополняющие клетки, в том, что оно представляет собой неделимую конфигурацию, о чем свидетельствуют его половые признаки. Но вот парадокс: клонирование всегда будет производить существа, имеющие половые признаки, потому что они подобны своим моделям, в то время как секс становится, благодаря клонированию, бесполезной функцией. Но, строго говоря, секс — не функция, это именно то, что делает тело телом, то, что превалирует над всеми другими функциями тела. Секс (или смерть: в этом смысле это одно и то же) — это то, что превосходит любую информацию, которую можно получить о теле. Вся эта информация объединена в генетической формуле. И эта генетическая формула должна проложить себе путь автономного воспроизводства независимо от сексуальности и смерти. Наука, в лице биологии, анатомии и физиологии, уже приступила путем тщательного анализа органов и функций к процессу аналитического расчленения тела, и молекулярная генетика, вокруг которой и разворачивается вся фантасмагория, есть лишь логическое следствие этого, но на более высоком, отвлеченном и модельном уровне, на уровне управления ядром клетки, на уровне самого генетического кода. С механистической и функциональной точки зрения каждый орган есть не что иное, как отдельный протез, отличный от других: это уже имитация, но пока еще «традиционная». С кибернетической и информационной точки зрения — это наименьший недифференцируемый элемент, и каждая клетка тела становится эмбриональным протезом данного тела. Генетическая формула, записанная в каждой клетке, становится настоящим современным протезом всех тел. Если в общепринятом понимании протез представляет собой артефакт, замещающий неполноценный орган, то молекула ДНК, заключающая в себе всю информацию относительно тела, — превосходный протез, который позволит продлить тело до бесконечности за счет его самого, поскольку само тело представляет собой лишь бесконечную серию протезов. Кибернетический протез бесконечно тоньше и искуснее, чем любой механический, так как генетический код не является «естественным»: коль скоро всякая абстрактная часть целого, став зависимой, превращается в искусственный протез, который фальсифицирует это целое, подменяя его собой (pro-thesis, для замещения: такова этимология этого слова), то можно сказать, что генетический код, вбирающий в себя всю квинтэссенцию существа, ибо именно в нем, как полагают, содержится вся «информация» об этом существе (здесь перед нами невероятная сила генетической симуляции), представляет собой артефакт, операционный протез, абстрактную матрицу, от которой могут вести свое начало идентичные существа, предназначенные для исполнения одних и тех же приказаний, существа, появляющиеся даже не посредством воспроизводства, а путем самой простой пересылки. «Мое генетическое достояние было зафиксировано раз и навсегда в тот момент, когда определенный сперматозоид встретился с определенной яйцеклеткой. Это достояние включает в себя описание всех биохимических процессов, благодаря которым я был создан, и которые обеспечивают мое функционирование. Копия этого описания записана в каждой из десятков миллиардов клеток, составляющих меня сегодня. Каждая из них знает, как создать меня; прежде чем стать клеткой моей печени или моей крови, она является клеткой меня самого. Поэтому теоретически возможно создать идентичного мне индивидуума на основе одной из них». (Профессор А. Жакар). Итак, клонирование является последней стадией истории моделирования тела, стадией, на которой индивидуум, сведенный к своей абстрактно-генетической формуле, обречен на серийное воспроизводство. Здесь следовало бы повторить то, что Уолтер Бенджамин говорил о произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости. То, что теряет серийно повторяемое произведение, так это свою ауру, то уникальное качество, которое проявляется при непосредственном созерцании подлинника, свою эстетическую форму (оно уже потеряло ранее в своем эстетическом качестве свою ритуальную форму). И тогда произведение, которое постигает неизбежная судьба репродукции, принимает, по словам Бенджамина, политическую форму. Оригинал утерян, и одна лишь история, ностальгически ретроспективная, в состоянии восстановить его «подлинность». Наиболее экспрессивные, наиболее модернистские формы этого течения, которые отражают современные средства массовой информации — фотография и кино, ибо эти формы таковы, что оригинал не появится более никогда, так как с самого начала предметы замышляются в контексте неограниченной репродукции. Когда начинается клонирование, нечто подобное происходит с нами уже не только на уровне сообщений, но и на уровне индивидуумов. В сущности, именно это и происходит с телом, когда из него хотят создать лишь некое сообщение, некую информационную субстанцию. И тогда не остается ничего, что могло бы противиться серийному воспроизводству, о котором можно говорить в терминологии, идентичной той, что использует Бенджамин, рассуждая о промышленных товарах серийного производства и об изображениях, предлагаемых нам средствами массовой информации. Существует прецессия воспроизводства относительно производства, прецессия генетической модели над всеми возможными телами. Это ниспровержение порядка вещей обусловлено вторжением технологии, той самой, которой Бенджамин в своих последних умозаключениях приписывает роль всеобщего медиума и гигантского протеза индустриальной эпохи, управляющего производством идентичных предметов и изображений, различить которые уже невозможно никаким способом. И это при том, что мы не представляем себе уровень современного развития этой технологии, которая, производя идентичные существа, делает невозможным возврат к существу изначальному. Протезы индустриальной эпохи остаются пока еще наружными, экзотехническими, те же, которые нам известны сегодня, превратились во внутренние разветвленные протезы — в протезы эзотехнические. Мы живем в эпоху софт-технологий, в век генетического и ментального software [программного обеспечения]. До тех пор, пока протезы прежнего индустриального «золотого века» оставались механическими, они еще старались обращать внимание на тело и, изменяя его образ, сами были при этом обратимо задействованы в метаболизме воображаемого мира, так что этот технологический метаболизм был составной частью образа тела. Но когда имитация достигает точки невозврата, т. е. когда протез углубляется, проникает, просачивается внутрь неведомой микромолекулярной сердцевины тела, когда он вынуждает тело признать себя, протез, «изначальной» моделью, уничтожая при этом все возможные символические окольные пути, которые могут возникнуть впоследствии, так что любое тело становится не чем иным, как незыблемым повторением протеза, тогда приходит конец телу, его истории, его перипетиям. Индивидуум теперь являет собой некий раковый метастаз формулы, лежащей в его основе. И разве все индивидуумы, полученные в результате клонирования индивидуума X, представляют собой что-либо иное, нежели раковый метастаз — деление одной и той же клетки, наблюдаемое при раке? Существует тесная связь между направляющей идеей генетического кода и патологией рака: код указывает на наименьший простой элемент, минимальную формулу, к которой можно свести всего индивида, и по которой организм может воспроизводить себя, создавая идентичные копии. Рак означает неограниченное деление базовой клетки, игнорирующее органические законы организма в целом. Точно также в клонировании ничто не противостоит возобновлению Того же Самого, безудержному размножению из одной-единственной матрицы. Прежде размножение половым путем еще создавало препятствие клонированию, сегодня можно, наконец, изолировать генетическую матку от идентичной матрицы, так что можно будет избежать отличительных нюансов, составлявших алеаторное обаяние индивидуумов. Если все клетки задуманы прежде всего как вместилище одной и той же генетической формулы (и это относится как к идентичным индивидуумам, так и ко всем клеткам одного и того же индивидуума), то что же они представляют собой, как не раковое распространение этой базовой формулы? Метастаз, начавшийся с серийного производства товаров, заканчивается на уровне клеточной организации. Бесполезно спрашивать себя, является ли рак болезнью капиталистической эпохи. Эта болезнь действительно стоит во главе всей современной патологии, потому что она — сама форма вирулентности кода: чрезмерный избыток одних и тех же знаков, одних и тех же клеток. Вместе с необратимым технологическим «прогрессом» меняется картина тела: когда мы движемся от загара на солнце, что уже соответствует искусственному использованию естественной среды, т. е. превращению этой среды в телесный протез (само тело становится симулированным, но где его истина?), — до загара в домашних условиях с помощью йодной лампы (это еще добрая старая механическая техника) — к загару с помощью таблеток и гормональных препаратов (химический протез, который проглатывается) — и, в заключение, к загару, полученному в результате вмешательства в генетическую формулу (стадия несравненно более продвинутая, но речь идет все же о протезе: просто он окончательно интегрирован, и при этом не задействованы ни поверхность, ни отверстия тела), мы имеем дело с различными типами тела. Метаморфозе подверглась сама схема единого организма. Традиционный протез, служащий для восстановления функций поврежденного органа, ничего не меняет в общей модели тела. Ничего не изменяет и трансплантация органов. Но что можно сказать о моделировании на ментальном уровне посредством психотропных препаратов и наркотиков? Здесь уже меняется картина тела. Тело, испытывающее воздействие психотропных средств, — это тело, «смоделированное» изнутри, оно уже не проходит более через перспективное пространство изображения, зеркала и речи. Это тело молчащее, оно обладает ментальностью, но имеет молекулярную (а не зеркальную) структуру, тело, в котором обмен веществ совершается сам собой, без участия действия или взгляда; тело имманентное, без фальсификации, сценариев и трансцендентности, тело, обреченное на имплозивный метаболизм продуктов деятельности мозга и эндокринной системы, тело, обладающее чувствительностью, но не способное к восприятию, ибо оно связано лишь с нервными окончаниями собственных внутренних органов, но не с предметами окружающего мира (поэтому оно может быть низведено до самого ничтожного, самого незначительного, «чистого уровня» чувствительности; для этого достаточно «отключить» его от его собственных сенсорных окончаний). Это тело уже однородно и находится на стадии осязательной пластичности, ментальной гибкости и насыщенности психотропными средствами (и каждое из этих свойств подобно некоему азимуту), эта стадия уже близка к манипуляциям на уровне генетического ядра, т. е. к полной утрате изображения. Подобные тела не в состоянии иметь какое-либо представление ни о самих себе, ни о других; преобразование генетической формулы или возникновение биохимической зависимости вытравило из них их сущность и смысл: точка невозврата, апофеоз технологии, которая сама по себе стала интерстициальной и молекулярной.

 ГОЛОГРАММЫ

 Это фантазм — схватить реальность «на лету», но попытки продолжаются еще со времен Нарцисса, склонившегося над ручьем. Поразить реальное, обездвижив его, схватить реальное, умертвив его в копии. Вы склоняетесь над голограммой, как Бог над своим творением: лишь Бог имеет эту власть — проходить сквозь стены, сквозь людей и оказываться по ту сторону в бестелесном состоянии. Мы мечтаем проходить сквозь самих себя и оказываться по ту сторону: когда ваша голографическая копия появится в пространстве, возможно, двигаясь и разговаривая, вы ощутите это чудо. Конечно, это уже не будет мечтой, и ее очарование будет утрачено. Телевизионная студия превращает нас в голографические знаки: возникает впечатление, что вы материализуетесь в пространстве с помощью света прожекторов, как те полупрозрачные призраки, которые проходят сквозь массы (из миллионов телезрителей), точно так, как ваша реальная рука проходит сквозь нереальную голограмму, без сопротивления — но не без последствий: пройдя сквозь голограмму, она также становится нереальной. Иллюзия полная и по-настоящему завораживает, когда голограмма проецируется на панели и вас ничто не отделяет от нее (иначе это фото или киноэффекты). Это та характерная иллюзия, которая отличает голограмму от картины: вместо перспективной точки зрения, вы оказываетесь в обратной глубине, которая превращает вас самих в точку схода… Здесь необходимо, чтобы рельеф и объем воспринимался так же как обычный трамвайный вагон или фигуры на шахматной доске. Исходя из этого, остается выяснить, какого типа объекты или формы будут собственно «гологеничными», ведь голограмма не более предназначалась для производства трехмерного кино, чем кино предназначалось для воссоздания театра или фотография — для повторения содержания и темы живописи. В голограмме, как и в истории с клонами, предметом безжалостной травли является воображаемая аура копии. Подобие — это мечта, и она должна оставаться ею, чтобы могла существовать минимальная иллюзия и сцена для воображаемого. Подобие не должно сливаться с реальным, стремиться к точному сходству мира с самим собой, субъекта с самим собой. Потому что тогда исчезает образ. Подобие не должно сливаться с копией, потому что тогда исчезает дуалистическая связь и вместе с ней вся соблазнительность. Поэтому в случае с голограммой, как и с клоном, мы имеем дело с обратным соблазном и с обратным очарованием, обусловленными концом иллюзии, сцены, тайны, который наступает вследствие материализованной проекции всей имеющейся относительно предмета информации, вследствие материализованной транспарентности. После фантазма видеть себя (зеркало, фотография) наступает очередь фантазма, сосредоточенного на том, чтобы окинуть взглядом себя со всех сторон, пройти сквозь собственное спектральное тело, — и любой голографический объект становится, прежде всего, светящейся эктоплазмой вашего собственного тела. Однако это означает в определенном смысле конец эстетики и торжество медиа, точно так, как это происходит со стереофонией, которая в своей технологичности, в общем-то, кладет конец обворожительности и восприятию музыки. Голограмма просто не способна создать ту иллюзию, которая является одним из способов обольщения, постоянного обращения, в соответствии с правилами правдоподобия к аллюзиям и недомолвкам. Вместо этого ее охватывает непреодолимое влечение слиться с копией. Если мир, по Маху, это то, у чего нет копии, нет зеркального эквивалента, тогда в случае с голограммой мы уже находимся практически в другом мире — в том, который является лишь зеркальным эквивалентом этого мира. Но чем же является этот мир? Голограмма, та, о которой мы всегда мечтали (голограммы, которые мы имеем на сегодняшний день, — это лишь жалкие поделки), волнует, вызывает головокружение возможностью перейти на другую сторону нашего собственного тела, сторону копии, светящегося клона или мертвого близнеца, который никогда не рождался вместо нас и который наблюдает за нами посредством антиципации. Голограмма — совершенный образ, а так же конец воображаемого. Или, скорее, это не образ вообще — реальная лазерная среда, концентрированный, квинтэссенциальный свет, свет, который перестал восприниматься зрением или отражаться, абстрактный свет симуляции. Лазер/скальпель. Световая хирургия, направленная в данном случае на оперирование копии: вас оперируют с целью удаления копии, как если бы вас оперировали с целью удаления опухоли. Копию, которая пряталась внутри вас (вашего тела, вашего бессознательного?) и тайная форма, которая как раз и питала ваше воображаемое, при условии, что она останется тайной, эту копию удаляют с помощью лазера, синтезируют и материализуют перед вашими глазами так, чтобы вы могли пройти сквозь нее и попасть по ту сторону. Исторический момент: отныне голограмма выступает составной частью того «подсознательного комфорта», который является нашим назначением, этого счастья, которое торжественно посвящается отныне ментальному симулякру и феерии спецэффектов, наполняющих окружающую среду. (Социальное, социальная фантасмагория сама уже не более чем спецэффект, полученный в условиях вакуума из конвергентных пучков причастности, смоделированный как призрачный образ коллективного счастья.) Трехмерность симулякра — почему трехмерный симулякр должен быть ближе к реальному, чем симулякр двумерный? Он на это претендует, однако его эффект, как это ни парадоксально, противоположен и указывает нам на четвертое измерение как на скрытую истину, тайное измерение, присущее всем вещам, которое внезапно становится очевидностью. Чем ближе мы к совершенству симулякра (и это справедливо относительно не только предметов, но и произведений искусства или моделей социальных или психологических отношений), тем очевиднее для нас (или, скорее, для злого духа скептицизма, который живет внутри нас, еще более злого, чем дух симуляции) становится то, посредством чего все вещи избегают репрезентации, избегают своей собственной копии и своего подобия. Словом, реальное не существует: третье измерение является лишь воображаемым двумерного мира, четвертое — воображаемым трехмерного мира… Эскалация производства реального, которое становится все реальнее благодаря последовательному добавлению измерений. Но, с другой стороны, возрастает и обратное движение: единственно правильным и по-настоящему соблазнительным является то, в чем задействовано на одно измерение меньше. В любом случае эта погоня за реальным и за иллюзией реального ведут в тупик, ведь, когда один предмет точно подобен другому, он не похож на него точно, он подобен ему немного точнее. Сходства нет, оно больше, чем точность. То, что точно, уже слишком точно, точное лишь то, что приближается к истине, не претендуя на нее. Это немного напоминает ту парадоксальную формулу, которая утверждает, что когда два бильярдных шара катятся друг к другу, то первый касается другого на мгновение раньше, или же один касается другого прежде, чем касаются его самого. И это означает, что не существует даже какой-то возможной синхронности на уровне времени, так же как не существует какого-то возможного сходства на уровне тел. Ничто ни чему не подобно, и голографическое воспроизведение, так же как любой намек на синтез или точное воспроизведение реального (это касается также и научных экспериментов), уже больше не реальное, оно гиперреальное. Следовательно, оно никогда не является репродукцией (истины), но всегда уже является симуляцией. Не точной, а с чрезмерной правдивостью, то есть такой, которая уже находится по ту сторону истины. Что же происходит по ту сторону истины, не с тем, что ложное, а с тем, что истиннее истинного, реальнее реального? Конечно же, вещи небывалые и кощунственные, намного более разрушительные для порядка истины, чем ее чистое отрицание. Исключительная и убийственная сила, которая кроется в потенциализации истинного, в потенциализации реального. Возможно, именно поэтому близнецы обожествлялись — и приносились в жертву — во многих архаичных культурах: гиперподобность равнялась убийству оригинала, а значит чистому нонсенсу. Любую классификацию или сигнификацию, любую модальность смысла можно, таким образом, разрушить простым логическим возведением в энную степень — доведением до предела, как если бы истина поглотила свой собственный критерий истины, поглотила бы свое собственное «свидетельство о рождении», и потеряла бы всякий смысл: так, при определенных условиях, можно точно вычислить вес земли или вселенной, но эта цифра сразу же покажется абсурдной, потому что она больше не будет иметь точки отсчета, зеркала, в котором она отражалась бы, — это суммирование, которое довольно-таки точно соответствует суммированию всех измерений реального в его гиперреальной копии или суммированию всей информации об индивидууме в его генетической копии (клоне), сразу придает ему характер чего-то «патафизического». Сама вселенная, если рассматривать ее глобально, является тем, что не может иметь ни какой-то репрезентации, ни какого-то зеркального дополнения, ни смысловой эквивалентности (приписывать ей какой-то смысл, какой-то вес так же абсурдно, как определять ее вес вообще). Смысл, истина, реальное могут проявляться лишь локально, в ограниченных условиях, это частичные объекты, частичные результаты зеркального отображения и эквивалентности. Любое копирование, любое обобщение, любое доведение до предела, любое голографическое продолжение (робкая попытка представить исчерпывающий отчет о вселенной) выставляет их в своей смехотворности. Если смотреть на них под этим углом зрения, то даже точные науки находятся в опасной близости к «патафизике». Ведь в них есть что-то от голограммы и объективистского влечения к деконструкции, а затем реконструкции мира с соблюдением точности в мельчайших подробностях, влечения, основанного на упрямой и наивной вере в соглашение, по которому вещи подобны самим себе. Реальное, реальный объект, как считают, совпадает с самим собой, похож на себя так, как отражение в зеркале, — и это потенциальное сходство является на самом деле единственным определением реального — и любой эксперимент, включая голографию, опирающийся на это сходство, лишь будет расходиться со своим объектом, ведь он не принимает во внимание его тень (именно поэтому он не похож на себя), эту скрытую грань, где объект исчезает, его тайну. Голограмма буквально перепрыгивает через свою тень и погружается в транспарентность, чтобы самой потеряться там.

 «АВТОКАТАСТРОФА»

 В классическом представлении (даже кибернетическом) технология — это расширение тела. Она — функциональное усовершенствование человеческого организма, то, что позволяет людям сравняться по возможностям с природой и победоносно приступить к ее освоению. От Маркса до Маклюэна — те же формулировки и то же инструменталистское видение машин: это промежуточные звенья, расширения, медиумы-посредники природы, в идеале предназначенные для того, чтобы стать органическим телом человека. В этом «рациональном» видении само тело — лишь посредник. Напротив, в барочной и апокалипсической версии «Автокатастрофы» Балларда техника выступает как смертельное расчленение тела — не как функциональный медиум, а как расширение смерти, — разделение на отдельные члены и части, но не в уничижительной иллюзии утраченной целостности субъекта (которая еще находится на уровне психоанализа), а в эксплозивном видении тела, выставленного для «символических ран», тела, перепутанного с технологией в ее извращенном и насильственном измерении, в той дикой и непрерывной хирургии, к которой она прибегает: вырезание, иссечение, шрамирование, вскрытие тела, относительно которого рубец от раны и связанное с ним «сексуальное» удовольствие является лишь частным случаем (а рабская зависимость от машин в процессе труда — пацифистской карикатурой), — тела, лишенного органов и наслаждения от них, полностью выставленного для маркировки, резки, технического рубцевания — под сверкающим знаком безреферентной и безграничной сексуальности. «Изуродовав и убив ее, технологии тем самым короновали ее, освятили неповторимые конечности, черты лица, жесты и оттенки кожи. Каждый из свидетелей унес с места аварии образ насильственной трансформации этой женщины. В комплексе ран ее сексуальность сплавилась с жесткой автомобильной технологией. Каждый из зрителей объединит в своем воображении нежную ткань своих слизистых оболочек, свои эрогенные зоны с ранами этой женщины, прочувствовав все — посредством автомобиля — через последовательность стилизованных поз. Каждый мысленно прикоснется губами к этим кровоточащим отверстиям, прижмется переносицей к ранам на ее левой руке, веком — к обнаженному сухожилию ее пальца, кожей возбужденного члена к изорванному ущелью ее половых губ. Автокатастрофа сделала возможным это финальное и долгожданное единение телезнаменитости с ее аудиторией.» Постичь всю технологию можно лишь в случае аварии (автомобильной), то есть в случае насилия, совершенного в отношении нее, и насилия, совершенного в отношении тела. Это одно и то же насилие: любой удар, любой толчок, любое столкновение, вся металлургия аварии прочитывается в семиургии тела — не в анатомии или физиологии, а в семиургии ушибов, шрамов, увечий, ран, которые становятся будто новыми многочисленными половыми органами, обнаруженными на теле. Таким образом, усложнению тела как ресурса труда в плане производства противостоит дисперсия тела как анаграммы в плане увечья. Конец «эрогенным зонам»: теперь все превращается в дыру, чтобы предложить себя для рефлекторной эякуляции. Но самое главное то (первобытные пытки, сопровождавшие инициацию — это совсем иное), что все тело становится знаком, чтобы предложить себя для обмена на телесные знаки. Тело и технология, дифрагировавшие их безумные знаки друг в друге. Телесная абстракция и современная функциональность. За всем этим нет ни чувства, ни психологии, ни флуктуации или желания, ни либидо или неосознанного влечения к смерти. Смерть, конечно, вовлечена в безграничный процесс исследования возможных форм насилия, которое творится относительно тела, но не так, как в садизме или мазохизме, с их нарочитой и перверсивной целью насилия, искажением смысла или сексуального влечения (искажением относительно чего?). Никакого подавляемого бессознательного (эмоции или репрезентации), разве что во вторую очередь, которое все еще способствовало бы появлению надуманного смысла, основанного на психоаналитической модели. Нонсенс и дикость этого смешения тела и технологии — вещь имманентная, здесь непосредственная реверсия одного в другое, в результате чего возникает неизвестная до сих пор сексуальность — что-то похожее на потенциальное головокружение, обусловленное простой регистрацией пустых знаков этого образования. Символический обряд с надрезами и нанесением отметок, как в случае с граффити в нью-йоркском метрополитене. Еще один общий момент: в «Автокатастрофе» мы не встречаем случайные знаки, которые могли бы появиться разве что на периферии системы. Несчастный Случай — это уже больше не тот интерстициальный бриколаж, которым он еще выступает во время ДТП: это остаточный бриколаж подсознательного влечения к смерти, новый вид досуга. Автомобиль — это не приложение к недвижимому домашнему миру, потому что домашнего и частного мира больше не существует, существуют лишь непрерывные показатели циркуляции, и всюду мы встречаем Несчастный Случай — элементарный, ирреверсивный показатель банальности аномальной смерти. Он уже не на периферии, он — в центре. Он больше не исключение из торжествующей рациональности, он поглотил Правило и сам стал Правилом. Он даже уже не «проклятая доля», неизбежность которой признается самой системой и включается в ее общий подсчет. Все поменялось местами. Теперь Несчастный Случай — одна из форм жизни, хоть и бессмысленной сексуальной жизни. И автомобиль, магнетическая сфера автомобиля, который, в конце концов, опутал весь мир своими тоннелями, магистралями, пандусами, транспортными развязками, своей мобильной средой обитания как универсальный прототип будущего, — не что иное, как грандиозная метафора жизни. Никакая дисфункция больше не возможна в мире Несчастного Случая — поэтому невозможно больше никакое извращение. Несчастный Случай, как и смерть, больше не принадлежит к порядку невротического, подавляемого, остаточного или трансгрессивного, он инициирует новый способ безперверсивного наслаждения (вопреки самому автору, который говорит во введении о новой извращенной логике, следует сопротивляться моральному соблазну читать «Автокатастрофу» как что-то извращенное), стратегическую реорганизацию жизни на основе смерти. Смерть, раны, увечья — уже не метафоры кастрации, а как раз обратное, — даже в преобладающей степени противоположное. Извращенной является лишь фетишистская метафора, соблазн через модель, через вмешательство фетиша, или через посредство языка. Здесь смерть и секс считываются непосредственно на уровне тела, без фантазма, без метафоры, без слов — в отличие от аппарата из «Исправительной колонии», где тело, вместе со своими ранами, еще только носитель текстуальной записи. Таким образом, аппарат Кафки, еще остается пуританским, репрессивным «сигнификативным аппаратом», как сказал бы Делез, тогда как технология «Автокатастрофы» кажется яркой, соблазнительной или же тусклой и невинной. Соблазнительной, потому что лишена смысла и является только зеркалом для разорванных тел. И тело Воана, в свою очередь, тоже зеркало для искореженных хромированных деталей, смятых бамперов, железных простыней, запятнанных спермой. Тело и технология смешаны вместе, прельщены друг другом, нераздельны. «Когда Воан свернул на площадку заправочной станции, алый неровный свет ее неоновой вывески упал на зернистые фотографии отвратительных ран: груди девочек подростков, деформированные передней панелью; силиконовая грудь пожилой домохозяйки, снесенная хромированной стойкой окна; соски, рассеченные фирменным знаком; травмы мужских и женских половых органов, причиненные корпусами рулевых колонок, осколками лобового стекла в момент, когда тела были выброшены из машины… Ряд снимков изуродованных членов, рассеченных вульв, смятых яичек вырвал из темноты мигающий свет. На некоторых снимках ранения были проиллюстрированы еще и теми частями автомобиля, которые их причинили: возле фотографии рассеченного члена был изображен фрагмент тормозного механизма; над снимком сильно раздавленной вульвы крупным планом был представлен автомобильный клаксон с фирменным знаком. Это соединение изорванных половых органов с частями автомобиля создавало ряд волнующих сочетаний, вызывающих новый поток боли и страсти.» Каждая отметина, каждый след, каждый шрам, оставленные на теле, — это как искусственная инвагинация, как шрамирование у дикарей, которые всегда являются страстным ответом на отсутствие тела. Лишь израненное тело существует символически — для себя и для других, — «сексуальное влечение» — это всего лишь возможность тел перемешивать и обменивать свои знаки. Поэтому те несколько естественных отверстий, с которыми по привычке связывают секс и сексуальные действия, являются ничем по сравнению со всеми возможными ранами, всеми искусственными отверстиями (но почему «искусственными»?), со всеми разрывами, через которые тело становится реверсивным и, как это происходит с некоторыми видами топологического пространства, теряет признаки деления на внутреннюю и внешнюю сторону. Секс, такой, каким мы его понимаем, является лишь жалким специализированным определением всех тех символических жертвенных обрядов, через которые тело может открыть себя, больше не через естество, но через имитацию, через симулякр, через несчастный случай. Секс — это лишь ограничение побуждения, вызываемое влечением к заранее обозначенным зонам. Его значительно превосходит то разнообразие символических ран, которым является, так сказать, анаграммирование секса на всей протяженности тела, — но тогда это уже больше не секс, это нечто иное, относительно чего секс — лишь запись основного означающего и нескольких вторичных признаков — ничто по сравнению с обменом всех тех знаков и ран, на которые способно тело. Дикари умели использовать с этой целью все тело, когда делали татуировки, прибегали к пыткам или проводили инициацию, — сексуальность была лишь одной из возможных метафор символического обмена, ни наиболее значимой, ни наиболее престижной — какой она стала для нас в своей реалистической и навязчивой референции, благодаря органическому и функциональному характеру (включая и оргазм). «Когда мы поехали со скоростью двадцать миль в час, Воан вынул палец из влагалища девушки, развернул бедра и ввел туда член. Над нами замигали фары — это поток машин, направляющихся вверх по эстакаде развязки. В зеркало я все еще наблюдал за Воаном и девушкой. Их тела, освещенные фарами задних машин, отражались в сотне блестящих точек отделки «линкольна». В хромированной крышке пепельницы я видел левую грудь девушки с торчащим соском. На блестящих полосках рамы окна я видел деформированные фрагменты бедер Воана и ее живота, складывающиеся в причудливой комбинации. Воан немного изменил позу девушки, и снова его член вошел ей во влагалище. В триптихе образов, отраженных в спидометре, часах и топливном индикаторе, казалось, что их половой акт происходит под навесами гротов этих люминесцентных циферблатов и регулируется покачивающейся стрелкой спидометра. Выпуклый панцирь приборного щитка и стилизованная скульптура корпуса рулевой колонки сотни раз отражали ее вздымающиеся и опадающие ягодицы. Я погнал машину со скоростью пятьдесят миль в час по пустому мосту развязки. Воан выгнул спину и поднял женщину, подставляя ее свету следующих за нами машин. Ее острые груди вспыхнули в хромированной клети ускоряющейся машины. Сильные движения таза Воана совпадали с моментами, когда мы проезжали мимо светильников, расположенных вдоль моста через каждую сотню ярдов. При приближении каждого из них его бедра толкали девушку, вонзая член во влагалище, руки разводили ее ягодицы, открывая анус желтому свету, заполнявшему машину.» Здесь все эротические термины имеют технический характер. Отсутствуют такие слова, как задница, конец, дыра, вместо них употреблены: анус, прямая кишка, влагалище, член, половой акт. Отсутствует арго, то есть отсутствует интимность сексуального насилия, вместо того имеем функциональный язык: эквивалентность хрома и слизистых оболочек как полное соответствие одной формы другой. Так же происходит со смертью и сексом: они переплетены друг с другом, скорее в соответствии с неким техническим супердизайном, нежели с наслаждением. Впрочем, речь идет не о получении наслаждения, а об обычной эякуляции. И совокупления, и сперма, проходящие через всю книгу, имеют не более чувственной ценности, чем филигранность ран насильственного смысла, даже метафорически. Это лишь сигнатуры: не случайно в финальной сцене X помечает своей спермой то, что осталось от автомобиля после катастрофы. Наслаждение (перверсивное или нет) всегда было опосредовано с помощью технического устройства, механизма действия реальных предметов, но чаще при помощи фантазмов, оно всегда предполагает промежуточную манипуляцию позами или приспособлениями. Здесь наслаждение — лишь оргазм, то есть оно перемешано с насилием технического устройства и гомогенизируется лишь с техникой, которую можно свести к единственному объекту — автомобилю. «Мы попали в огромную пробку. От пересечения автострады с Западным проспектом до въезда на эстакаду все полосы были забиты машинами, лобовые стекла источали переплавленные лучи солнца, зависшего над западными окраинами Лондона. В вечернем воздухе мерцали габаритные огни, озаряя колоссальный водоем лакированных тел. Воан сидел, выставив руку из пассажирского окна. Он нетерпеливо щелкал дверной ручкой, постукивал по кузову кулаком. Справа от нас нависала обрывом человеческих лиц высокая стена двухэтажного автобуса, ехавшего из аэропорта. Пассажиры в окнах напоминали ряды мертвецов, уставившихся на нас из галереи колумбария. Колоссальная энергия двадцатого века, достаточная для того, чтобы переместить планету на новую орбиту вокруг более счастливой звезды, была направлена на поддержание этой грандиозной неподвижной паузы. Вокруг меня, вдоль всего Западного проспекта, по всей проезжей части развязки тянулась, пока хватало глаз, огромная пробка, спровоцированная аварией. И я, стоя в центре этого застывшего циклона, чувствовал себя абсолютно беззаботным, будто меня, наконец, освободили от всех моих навязчивых идей относительно этих машин, число которых увеличивалось без конца.» Впрочем, еще одно измерение неотрывно связано в «Автокатастрофе» с тесно переплетенными измерениями технологии и секса (объединенными в работе смерти, которая никогда не является работой траура): измерение фото- и кинематографическое. Яркая и насыщенная поверхность дорожного движения и аварии лишена глубины, однако она все время дублируется в объективе камеры Воана. Он накапливает и накапливает фотографии аварий, словно собирает досье. Генеральная репетиция центрального события, которое он готовит (его смерть в автокатастрофе и одновременно смерть кинозвезды в столкновении с Элизабет Тейлор, столкновении, которое педантично моделировалось и оттачивалось в течение месяцев), происходит во время съемок. Этот мир был бы ничем без этого гиперреального раздвоения. Только редупликация, только развертывание визуального медиа на втором уровне, способно обеспечить слияние технологии, секса и смерти. Но на самом деле фотография здесь не медиа и не принадлежит к порядку репрезентации. Речь идет ни о «дополнительном» абстрагировании образа, ни о непреодолимом влечении к зрелищному, и позиция Воана — это отнюдь не позиция вуайериста или извращенца. Фотопленка (так же, как музыка, которая несется из приемников в салонах автомобилей и квартирах) является частью того универсального, гиперреального, воплощенного в металл и тела слоя, который образуют транспортные потоки. Фотография не в большей степени медиа, чем технология или тело, — они все синхронизированы в мире, где антиципация события совпадает с его воспроизведением и даже с его «реальным» развертыванием. Нет больше и глубины времени — так же, как прошлое, в свою очередь, перестает существовать и будущее. Фактически, это глаз камеры субституирует время, так же, как и любую другую глубину — чувства, пространства, языка. Это не какое-то иное измерение, это всего лишь означает, что данный мир остался без тайн. «Позади стоял хорошо экипированный манекен с подбородком, задранным потоком воздуха. Его руки крепко держали руль, как руки камикадзе, а торс был увешан измерительными приборами. В машине напротив сидели четыре манекена, представляющие семью. Их лица были покрыты эзотерическими знаками. Хлопанье кнута резануло наши уши: кабели измерительных приборов извивались, скользили по траве вокруг рельсов. С резким металлическим скрежетом мотоцикл врезался в переднюю часть автомобиля. Оба механизма отнесло к застывшим зрителям из первого ряда. Мотоцикл и его водитель пролетели над капотом машины и ударились в лобовое стекло, затем по крыше косо прогрохотала черная масса обломков, машину отнесло футов на десять назад, вдоль направляющих, где она и застыла, перевернувшись крышей на рельсы. Капот, лобовое стекло и крыша были смяты ударом. Члены семьи в кабине завалились друг на друга, обезглавленный торс женщины на переднем сиденье впечатался в растрескавшееся лобовое стекло… Ковер из щепок вокруг автомобиля был усеян стружкой из стекловолокна, вырванной из лиц и плеч манекенов и напоминавшей серебристый снег или какое-то жуткое конфетти. Элен взяла меня за руку, поощрительно кивая, словно помогала ребенку преодолеть какое-то психологическое замешательство: «Мы можем еще раз взглянуть на экране на все, что произошло. Они показывают все в замедленной съемке.» В «Автокатастрофе» все гиперфункционально, потому что и дорожное движение и авария, и технология и смерть, и секс и симуляция являются как бы одним большим и синхронным механизмом. Это тот самый мир, что и в гипермаркете, где товар становится «гипертоваром», то есть навсегда включенным, вместе со всем своим окружением, в систему непрерывной циркуляции. Но вместе с тем функционализм «Автокатастрофы» поглощает свою собственную рациональность, ведь ему больше не известно такое явление, как дисфункция. Это радикальный функционализм, который достигает своих парадоксальных границ и стирает их. Он вдруг вновь становится неопределимым, а следовательно, и захватывающим. Ни хорошим и ни плохим: амбивалентным. Подобно смерти или моде, он вдруг снова становится траверсивным, тогда как старый добрый функционализм, даже в своем отрицании, отнюдь не является таковым, — то есть он становится более коротким путем, чем основная дорога, или путем, ведущим туда, куда не ведет главная дорога, или, еще лучше (здесь мы спародируем Литтре на патафизический лад), «дорогой, которая не ведет никуда, но ведет туда быстрее, чем другие». Именно это отличает «Автокатастрофу» от всей или почти всей научной фантастики, которая большей частью все еще вращается вокруг старой пары функция/дисфункция, которую она переносит в будущее с теми же силовыми линиями и с теми же целями, которые существуют в обычном мире. Фантастика превосходит в ней реальность (или наоборот), но по тем же правилам игры. В «Автокатастрофе» больше нет ни фантастики, ни реальности, и то, и другое отменяет гиперреальность. И даже критическая регрессия невозможна. Этот мир, который испытывает мутацию и меняет местами симуляцию и смерть, этот мир брутальной сексуальности, но сексуальности без желания, переполненный разорванными и растерзанными, но как бы нейтрализованными телами, этот хроматический и металлический мир перевозбужденный, но лишенный чувственности, гипертехнологический мир без всякой цели — он хороший или плохой? Мы никогда не узнаем об этом. Он просто увлекателен, и это увлечение не подразумевает какой-либо оценки. Вот в чем чудо «Автокатастрофы». Нигде на поверхности не выныривает этот поучительный взгляд, это критическое суждение, которое все еще является неотъемлемой составляющей функциональности старого мира. «Автокатастрофа» гиперкритична (и это также вопреки автору, который во введении говорит о «предупредительной функции, о предостережении против этого жестокого мира с его крикливыми огнями, который все докучливее добивается нас на обочине технологического пейзажа»). Мало какие книги, мало какие фильмы достигают этого уровня разрыва со всякой конечной целью и критического отрицания, этого тусклого великолепия банальности и насилия. Может быть «Нэшвилл», «Заводной апельсин». После Борхеса, но в другом регистре, «Автокатастрофа» является первым большим романом о мире симуляции, том мире, с которым мы отныне повсюду будем иметь дело, — асимволический мир, который, однако, через своего рода преобразование массмедиатизированной субстанцией (неон, бетон, автомобили, эротические техники), выглядит так, будто пронизан интенсивной силой инициации. «Последняя машина скорой помощи отъехала под вой сирен. Люди вернулись к своим автомобилям. Впереди нас прошла девушка в джинсах. Парень, который сопровождал ее, обвил одной рукой ее талию, а другой ласкал ее правую грудь, касаясь пальцами соска. Они сели в двухместный кабриолет, украшенный флажками и желтыми разводами, и, эксцентрично сигналя, укатили. Дородный мужчина в куртке водителя грузовика подсадил на бордюр свою жену, поддержав ее рукой за ягодицы. Эта всеобъемлющая сексуальность наполнила воздух, словно мы были членами общины, покидающими проповедь, которая призывала восславить нашу сексуальность с друзьями и незнакомцами, и мы уезжали в ночь, чтобы сымитировать с самыми неожиданными партнерами кровавое причастие, которое мы только что созерцали.»

 СИМУЛЯКРЫ И НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

 Есть три порядка симулякров: — Симулякры естественные, натуралистические, основанные на изображении, имитации и подделке, гармоничные, оптимистичные и направленные на реституцию или идеальную институцию природы по образу Божию; — Симулякры продуктивные, направленные на повышение производительности, основанные на энергии, силе, ее материальном воплощении в машине и всей системе производства, — прометеевское стремление к глобализации и непрерывной экспансии, к высвобождению безграничной энергии (это желание является частью утопий, связанных с данным порядком симулякров); — Симулированные симулякры, основанные на информации, моделировании, кибернетической игре, их цель — полнейшая операциональность, гиперреалистичность, тотальный контроль. Первому порядку соответствует воображаемое утопии. Второму соответствует научная фантастика в прямом смысле. Третьему порядку соответствует… — есть ли еще какое-то воображаемое, которое соответствовало бы этому порядку? Вероятный ответ таков, что старое доброе воображаемое научной фантастики умерло и что сейчас на поверхность всплывает что-то другое (и не только в художественной литературе, но и в теории). То же подвешенное состояние и неопределенность судьбы кладет конец научной фантастике — но вместе с ней и теории, как двум специфическим жанрам. И реальное, и воображаемое существуют лишь на определенной дистанции. Что происходит, когда эта дистанция, включая дистанцию между реальным и воображаемым, начинает исчезать, поглощаться исключительно в пользу модели? Примечательно, что переходя от одного порядка симулякров к другому, мы наблюдаем все ту же тенденцию к резорбции этой дистанции, этого промежутка, который оставляет место для проекции идеального или критического характера: — Эта дистанция максимизируется в утопическом, в котором вырисовывается сфера трансцендентного, коренным образом иной мир (романтическая мечта еще остается его индивидуализированной формой, в которой трансцендентность тщательно прорисована, в том числе и в структурах бессознательного, но в любом случае отрыв от реального мира максимальный, и перед нами остров утопии, который противостоит континенту реального); — Эта дистанция значительно сокращается в научной фантастике: последняя зачастую является лишь диспропорциональной, но качественно не отличимой проекцией реального мира производства. Происходит наращивание механических или энергетических возможностей, скорости или мощности достигают энной степени, но схемы и сценарии остаются такими же, как и в механике, металлургии и т. д. Это — прогнозируемые ипостаси автомата. (Ограниченному миру доиндустриальной эпохи утопия противопоставляла идеальный альтернативный мир. К потенциально бесконечному миру производства научная фантастика добавляет прирост своих собственных возможностей). — Эта дистанция полностью резорбируется в имплозивную эру моделей. Модели больше не являются трансцендентностью или проекцией, они больше не являются воображаемым относительно реального, они сами антиципация реального и, следовательно, не оставляют места для какой-либо фантастической антиципации — они имманентны, поэтому не оставляют места для какой-либо воображаемой трансцендентности. Поле, которое приоткрывается, — это поле симуляции в кибернетическом смысле, то есть поле всесторонней манипуляции моделями (сценарии, инсценировки симулированных ситуаций и т. д.), но тогда ничто не отличает этот процесс от управления самим процессом реального: фантастики больше не существует. Реальность могла бы превзойти фантастику: это было бы верным признаком возможностей эскалации воображаемого. Но реальное не может превзойти модель, всего лишь алиби которой оно является. Воображаемое было алиби реального в мире, в котором господствовал принцип реальности. Сегодня именно реальное стало алиби модели в мире, которым руководит принцип симуляции. И, как это ни парадоксально, именно реальное становится нашей подлинной утопией, но той утопией, осуществить которую уже невозможно, о которой можно лишь мечтать как о потерянном безвозвратно. Возможно, в кибернетическую и гиперреальную эру научная фантастика может лишь исчерпать себя, искусственно возрождая «исторические» миры. Она может лишь попытаться реконструировать «в пробирке» вплоть до малейших деталей перипетии предыдущего мира, события, действующих лиц, идеологии прошлого, лишенные смысла и подлинного звучания, но создающие иллюзии своей ретроспективной правдоподобностью. Так происходит в «Симулякрах» Ф. Дика с гражданской войной в США. Гигантская трехмерная голограмма, в которой фантастике больше никогда не суждено быть зеркалом, обращенным в будущее, но лишь повторной и безнадежной галлюцинацией прошлого. Мы больше не способны представить себе какой-либо иной мир, благодать трансцендентности покинула нас так же. Классическая научная фантастика была фантастикой расширяющейся вселенной, к тому же она черпала свои силы из рассказов об исследовании космического пространства, которые перекликались с более земными формами исследования и освоения, присущими XIX и XX столетиям. В этом нет четкой причинно-следственной связи: мировой рынок, рынок не только товаров, но и ценностей, знаков, моделей не оставляет никакого места воображаемому — примерно из-за этого и исследовательский (технический, психический, космический) мир научной фантастики также прекратил свое существование, но совсем не потому, что земное пространство сегодня виртуально выражено с помощью кода, нанесено на карты, переписано, насыщено и таким образом будто замкнуто в себе вследствие глобализации. Однако оба этих явления четко связаны между собой и являются двумя сторонами одного и того же общего процесса имплозии, пришедшего на смену гигантскому процессу эксплозии и экспансии, характерному для прошлых веков. Когда система достигает своих собственных границ и полностью насыщается, происходит реверсия — возникает нечто иное, в том числе и в воображаемом. До сих пор у нас всегда был резерв воображаемого — коэффициент реальности пропорционален резерву воображаемого, которое и делает реальное полновесным. Это также верно относительно географических и космических исследований: когда не остается девственной территории, а значит территории, доступной для воображаемого, когда карта покрывает всю территорию, такие вещи, как принцип реальности, исчезают. Завоевание космоса представляет в этом плане ту черту, после которой потеря земного референтного становится необратимой. Когда границы мира отступают в бесконечность, происходит утечка реальности как внутренней связности ограниченного мира. Завоевание космоса, которое состоялось после завоевания планеты, эквивалентно дереализации человеческого пространства, переходу его в гиперреальность симуляции. Как свидетельство — эта двухкомнатная квартира (кухня + душ), выведенная на орбиту, так сказать, возведенная в космическую степень, вместе с последним лунным модулем. Обыденный характер этого земного жилья, возведенного в ранг космической ценности, гипостазирование его в космическом пространстве, сателлитизация реального в трансцендентности космоса, — это конец метафизики, конец фантазма, конец научной фантастики — и начало эры гиперреальности. С этого момента что-то должно измениться: прогноз, экстраполяция, эта разновидность пантографической избыточности, все, что придавало шарм научной фантастике, становятся невозможными. Теперь невозможно выстроить нереальное на основе реального, воображаемое на основе данных о реальном. Процесс будет протекать скорее в обратном направлении: он будет состоять в децентрации ситуаций и моделей симуляции, в изобретательных попытках прибавить им красок реального, повседневного, пережитого, в переосмыслении реального как фантастического, и именно потому, что оно исчезло из нашей жизни. Иллюзия реального, пережитого, повседневного, но воспроизведенного, иногда с такими странными деталями, что они начинают смущать, воспроизведенного как животный или растительный заповедник, выставленного на обзор в своей прозрачной точности, но лишенного сущности, заранее дереализованного, гиперреализованного. Пожалуй, научная фантастика в этом случае уже не будет чем-то романическим, раздающимся вширь со всей той свободой и «наивностью», которую дает ей очарование открытия, скорее наоборот — она будет развиваться имплозивно, так же, как развивается нынешняя концепция вселенной, пытаясь возродить, перевоссоздать, оповседневить фрагменты симуляции, фрагменты той общей симуляции, которая заменила нам так называемый «реальный» мир. Так где же те произведения, которые отныне должны соответствовать этой ситуативной инверсии, этой ситуативной реверсии? Очевидно, что новеллы Филипа Дика «гравитируют», если можно так сказать (но сказать так уже не очень-то и можно, и именно потому, что этот новый мир «антигравитационный», или если он и гравитирует, то вокруг дыры реального, дыры воображаемого) в этом новом пространстве. Дик не изображает альтернативную вселенную, у него нет космической экзотики, фольклора или галактических подвигов — потому что у него мы сразу же попадаем в тотальную симуляцию, имманентную, без первопричины, без прошлого, без будущего, в диффузию всяких координат (ментальных, временных, пространственных, семантических) — речь идет не о параллельном мире, дублированном мире или даже о потенциальном мире, — ни о возможном, ни о невозможном, ни о реальном, ни о нереальном: о гиперреальном — мире симуляции, являющемся чем-то иным. И не потому, что Дик говорит конкретно о симулякрах (научная фантастика всегда делала это, но она обыгрывала копию, искусственное или воображаемое дублирование или раздвоение, тогда как здесь копия исчезла, копии больше не существует, мы навсегда попали в иной мир, который уже не другой мир, который является миром без зеркала, без проекции или утопии, способных отразить его, — симуляция такова, что ее невозможно преодолеть, невозможно выйти за ее пределы, она тусклая, плоская и не имеет внешнего проявления, — мы даже не сможем больше перейти «по ту сторону зеркала», как это было возможно в «золотой век» трансцендентности. Другим примером, возможно, еще более убедительным, мог бы быть пример Балларда и его эволюции, начиная с первых новелл, очень «фантасмагорических», поэтических, сказочных и дезориентирующих, к «Автокатастрофе», которая, безусловно (больше, чем «IGH» или «Бетонный остров»), является современным образцом той научной фантастики, которая перестала таковой быть. «Автокатастрофа» — это наш мир, в нем ничего не «выдумано»: в нем все гиперфункционально, — дорожное движение и авария, техника и смерть, секс и фотообъектив, — в нем все будто какая-то большая, синхроническая и симулированная машина: то есть акселерация наших собственных моделей, всех моделей, которые окружают нас, перемешанных и гипероперационализированных в пустоте. Это то, что отличает «Автокатастрофу» почти от всей научной фантастики, которая в основном все еще вращается вокруг старой (механической и механистической) пары — функция/дисфункция, перенося ее в будущее с теми же силовыми линиями и с теми же целями, которые существуют и в «обычном» мире. Фантастика превосходит в ней реальность (или наоборот: это более тонко), но по тем же правилам игры. В «Автокатастрофе» больше нет ни фантастики, ни реальности, их отменяет гиперреальность. Это и есть, если она все же существует, наша современная научная фантастика. Может еще «Джек Бэррон», некоторые отрывки из «Все на Занзибар!» Фактически, научная фантастика в прямом смысле нигде больше не существует, и вместе с тем она повсюду — в циркуляции моделей, здесь и сейчас, в самой аксиоматике окружающей симуляции. Она может внезапно возникнуть в грубом виде вследствие самой инерции этого операционного мира. Какой фантаст мог бы «выдумать» (как раз такое уже больше не «выдумывается») эту «реальность» западногерманских заводов-симулякров, заводов, которые повторно нанимают безработных, чтобы те изображали производственный процесс, но которые не производят ничего, и вся деятельность которых сводится к игре в заказ, конкуренцию, обмен документами, в бухгалтерский учет внутри одной большой общей сети? Все материальное производство взрастает в пустоте (один из этих заводов-симулякров даже «реально» обанкротился, во второй раз оставив без работы своих безработных). Это и есть симуляция: не потому, что эти заводы фальшивые, а именно потому, что они реальны, гиперреальны, и поэтому они отсылают «истинное» производство, производство «серьезных» заводов, к той самой гиперреальности. И самое интересное здесь не оппозиция между настоящими и фальшивыми заводами, а наоборот, отсутствие четкого различия между ними, тот факт, что остальные предприятия имеют не более референтной основы или фундаментальной цели, чем эти «симулякры» бизнеса. Именно в этой гиперреальной индифферентности и заключается истинное «научно-фантастическое» свойство этого казуса с заводами. И становится очевидным, что выдумывать его нет нужды: он здесь, он вынырнул на поверхность мира без тайн, без глубины. Без сомнения, самым трудным сегодня в сложном мире научной фантастики является распознать то, что еще соответствует (а это значительная часть) воображаемому второго порядка, порядка продуктивного/проективного, и то, что уже принадлежит к этой невнятности воображаемого, к этой флуктуации, характерной для третьего порядка симуляции. Так, можно четко провести различие между механическими машинами-роботами, характерными для второго порядка, и кибернетическими машинами, компьютерами и т. д., принадлежащими по своей аксиоматике к третьему порядку. Но один порядок вполне может смешиваться с другим, и компьютер вполне может функционировать как механическая супермашина, некий суперробот, сверхмощная машина, демонстрируя продуктивный дух симулякров второго порядка: в таком случае он не втягивается в процесс симуляции и по-прежнему является отражением мира, наделенного целью (включая амбивалентность и способность восставать, как компьютер в «Космической одиссеи» или Шелмейнезер во «Все на Занзибар!»). Между оперным (театральный статус, статус фантастической театральности машин, «Гранд-Опера» техники), что соответствует первому порядку, оперативным (индустриальный статус, статус производительности энергии и силы), что соответствует второму порядку, и операционным (кибернетический, алеаторный статус, неопределенный статус «метатехники»), что соответствует третьему порядку, на уровне научной фантастики сегодня еще могут иметь место любые случаи взаимодействия. Однако лишь последний порядок еще может заинтересовать нас по-настоящему.

 ЖИВОТНЫЕ: ТЕРРИТОРИЯ И МЕТАМОРФОЗЫ

 К чему стремились палачи Инквизиции? К признанию Зла, принципа Зла. Нужно было заставить обвиняемых сказать, что их вина лишь случайная, что она — следствие вмешательства принципа Зла в божественный порядок. Таким образом, признание восстанавливало причинность, которая вызвала веру, и пытки, уничтожение зла через пытки, были лишь триумфальным (не садистским и не искупительным) завершением того действия, которое привело к порождению Зла как причины. Иначе наименьшая ересь ставила бы под сомнение все Божие творение. Так же и мы, когда используем и наносим вред животным в лабораториях, в космических ракетах, прибегая, во имя науки, к этой экспериментальной жестокости, — какое признание мы хотим вырвать у них под скальпелем и электродами? Определенно признание принципа объективности, в котором наука никогда не была уверена и в который она втайне и вовсе теряет веру. Нужно заставить животных сказать, что они не животные, что зверство, дикость, со всем тем невообразимым, радикально несовместимым с умом, что они содержат в себе, не существуют и что, наоборот, самые зверские, самые исключительные, самые анормальные поступки находят свое объяснение в науке, превращаясь в физиологические механизмы, церебральные связи и т. д. Нужно убить в животных зверство и его принцип неопределенности. Экспериментирование, следовательно, перестает быть средством для достижения цели, оно — современный вызов и современные пытки. Оно не ищет ясности, оно вырывает признание науки, как когда-то вырывали признание веры. Признание, очевидные отклонения от которого в виде болезни, безумия, зверства является лишь временным расстройством в транспарентности причинности. Это доказательство, как когда-то доказательство божественного разума, должно постоянно и повсеместно возобновляться — в этом смысле мы все животные, причем животные лабораторные, которых постоянно подвергают тестированию, чтобы вырвать из них рефлекторные реакции, то есть те же самые признания рациональности в последней инстанции. Повсюду зверство должно уступить место рефлекторному анимализму, изгоняя порядок необъяснимого, дикого, воплощением которого для нас, через свое молчание, как раз и остались животные. Животные, следовательно, были нашими предшественниками на пути либерального уничтожения. Все аспекты современного обращения с животными напоминают особенности манипулирования людьми, от экспериментов до ускоренного индустриального выращивания. «Европейские ветеринары, собравшиеся на конгресс в Лионе, выразили беспокойство по поводу болезней и психических расстройств, которые распространяются в индустриальном животноводстве.» («Наука и будущее», июль 1973 г.) Среди кроликов распространяется болезненная тревожность, они становятся копрофагами и теряют способность к размножению. Уже от рождения кролик кажется «тревожным», «неприспособленным». Наблюдается большая уязвимость к инфекциям и различным паразитам. Антитела теряют свою эффективность, самки становятся стерильными. Стихийно, если можно так сказать, растет смертность. Истерия цыплят распространяется на всю группу, коллективное «психическое» напряжение может достигать критического предела: тогда все животные поднимают крик и хаотично разбегаются, трепыхая крыльями. После окончания кризиса наступает подавленность, всеобщий страх, животные прячутся по углам, безголосые и будто парализованные. После первого же потрясения кризис возобновляется. Так может продолжаться несколько недель подряд. Были попытки давать им транквилизаторы… Каннибализм среди свиней. Животные ранят сами себя. Телята начинают облизывать все вокруг, иногда вплоть до смерти. «Следует отметить, что сельскохозяйственные животные страдают психически…Возникает потребность в зоопсихиатрии… Фрустрационные психические состояния препятствуют нормальному развитию». Темнота, красный свет, различные приспособления, транквилизаторы — ничего не помогает. У домашних птиц существует иерархия доступа к пище, субординация. В условиях перенаселения последним в этом порядке вообще не удается питаться. Люди захотели сломать субординацию и демократизировать доступ к пище с помощью другой системы распределения. Неудача: разрушение этого символического порядка приводит к полному замешательству среди птицы и к хронической нестабильности. Замечательный пример абсурдности: всем известны плачевные последствия благих демократических намерений в племенных обществах. Животные испытывают соматические изменения вследствие психических переживаний! Экстраординарное открытие! Раковые заболевания, желудочные язвы, инфаркты миокарда у мышей, свиней, цыплят! В заключении автор предполагает, что единственным лекарством является пространство — «немного больше пространства, и многие из тех расстройств, которые мы наблюдаем, исчезли бы». В любом случае, «судьба этих животных стала бы менее плачевной». Поэтому он удовлетворен конгрессом: «Современная обеспокоенность участью сельскохозяйственных животных свидетельствует, в очередной раз, что союз этики и науки — правильно осознанный интерес». «С природой нельзя поступать как попало». Поскольку проблемы стали настолько серьезными, что начали вредить рентабельности бизнеса, это снижение прибыли может заставить производителей создать животным более нормальные условия жизни. «Чтобы выращивание было здоровым, отныне необходимо будет заботиться также о психическом равновесии животных». И он предсказывает то время, когда животных, как людей, будут отправлять в сельскую местность для восстановления этого психического равновесия. Еще никогда не было так хорошо сказано, в какой мере «гуманизм», «нормальность», «качество жизни» являются всего лишь превратностями рентабельности. Какая яркая параллель между этими животными, больными от прибавочной стоимости, и людьми, больными от индустриальной концентрации, научной организации труда и конвейерных заводов! И здесь также капиталистические «селекционеры» были принуждены к решительному пересмотру способов эксплуатации, к внедрению инноваций и постоянных усовершенствований в виде «качества труда», «усложнения заданий», к открытию «гуманитарных» наук и «психосоциологического» измерения завода. Лишь неизбежная смерть делает пример животных более возмутительным, чем пример людей, приставленных к конвейеру. Против индустриальной организации смерти животные не имеют другого средства и не могут бросить другого вызова, чем самоубийство. Все описанные аномалии являются самоубийственными. Это сопротивление означает неудачу индустриального подхода (снижение прибыли), и особенно ощущается то, что оно находится в противоречии с логическими рассуждениями специалистов. Если исходить из логики рефлекторного поведения и взаимосвязи животное-машина, из логики рациональной, то эти аномалии невозможно квалифицировать. Поэтому животных следует наделить психикой, иррациональной и расстроенной психикой, обреченной на либерально-гуманистическую терапию, хотя конечная цель будет оставаться при этом неизменной: смерть. Таким образом, мы изобретательно открываем психику животных как новое неисследованное научное поле, в момент, когда та оказывается неприспособленной к смерти, которую для них готовят. Так же мы повторно открываем психологию, социологию, сексуальность заключенных в момент, когда все это становится невозможным, просто потому, что они уже сидят в тюрьме. Становится очевидным, что заключенный нуждается в свободе, сексуальности, «нормальности», чтобы выдержать тюрьму, так же, как индустриальные животные нуждаются в определенном «качестве жизни», чтобы нормально умереть. И в этом нет ничего противоречивого. Рабочий также нуждается в ответственности, самоуправлении, чтобы лучше соответствовать императиву производства. Все нуждаются в психической жизни для своей адаптации. Другой причины для пришествия психического, сознательного или бессознательного, не существует. И его «золотой век», который длится до сих пор, совпадает с невозможностью рациональной социализации во всех сферах. Ни гуманитарные науки, ни психоанализ никогда не появились бы, если бы каким-то чудом было возможно свести человека к «рациональным» типам поведения. Все это открытие психологического, сложность которого может расти до бесконечности, вызвано невозможностью эксплуатировать до смерти (рабочих), держать под стражей до смерти (заключенных), откармливать до смерти (животных), исходя из четкого закона эквивалентностей: столько-то энергии и времени = столько-то рабочей силы; такое-то преступление = такому-то эквивалентному наказанию; столько-то пищи = оптимальный вес и индустриальная смерть. Все эти вещи пробуксовывают, и тогда возникает психическое, ментальное, невротическое, психосоциальное и т. д., и не для того, чтобы разорвать это бредовое уравнение, но для того, чтобы восстановить скомпрометированный принцип эквивалентности. В итоге, оказавшись вьючными животными, они вынуждены были работать для человека. Как подопытные животные, они должны отвечать на вопросы науки. Как животные, предназначенные для потребления, они стали индустриальным мясом. Как соматизированные животные, они обязаны сегодня разговаривать на языке «психов», отвечать за свое психическое и за проступки своего бессознательного. С ними случилось все то, что произошло и с нами. Наша судьба никогда не расходилась с их судьбой, и в этом состоит горький реванш над Человеческим Разумом, который исчерпал свои силы, утверждая абсолютное преимущество Человеческого над Животным. Впрочем, животные получили свой статус бесчеловечности лишь в ходе прогресса рациональности и гуманизма. Логика, параллельная логике расизма. Объективное «царство» животных существует лишь с тех пор, как появился Человек. Повторение генеалогии их статусов относительно друг друга заняло бы слишком много времени, но пропасть, разделяющая нас сегодня, пропасть, которая позволяет посылать животных вместо нас в эти страшные миры внеземного пространства и лабораторий, пропасть, которая позволяет уничтожать виды, одновременно отправляя их в архивы, как отдельные экземпляры животных отправляют в африканские заповедники или в ад зоопарков, — потому что в нашей культуре место для них появляется лишь когда они мертвы, — и все это прикрыто расистской сентиментальностью (малыши-тюлени Бриджит Бардо), эта пропасть, разделяющая нас, стала следствием одомашнивания диких животных, так же как истинный расизм стал следствием введения рабства. Раньше животным был свойственен более священный, более божественный характер, чем людям. В первобытных обществах нет даже «царства» людей, и долгое время порядок животных остается порядком референции. Лишь животное достойно того, чтобы быть принесенным в жертву, как божество, и лишь потом, в нисходящем порядке, идет человеческая жертва. Люди классифицируют себя по происхождению от животного: так, индейцы бороро «является» попугаями ара. Это явление не принадлежит к логическому или психоаналитическому порядку — ни к психическому порядку классификации, к которому свел изображение животных Леви-Стросс (хотя то, что животные могли использовать язык, уже было фантастическим, это также было составляющей их божественности), — нет, оно означает, что бороро и ара являются частью одного цикла и что цикличность исключает любое разделение на виды и все те отличительные оппозиции, которыми мы мыслим. Структурная оппозиция — дьявольская, она разделяет и сталкивает различные тождественности: таково выделение Человеческого, которое отбрасывает животных в Нечеловеческое, — относительно цикла, то он символичен: он отменяет позиции в обратимой последовательности — в этом смысле бороро «являются» ара, так же как по утверждениям канаков мертвые прогуливаются среди живых. (Или к чему-то похожему стремится Делез со своим «животным становлением» и когда призывает: «Будь розовой пантерой!»?) Как бы там ни было, но животным всегда было присуще, до нашей эры, божественное или жертвенное благородство, описания которого находим во всех мифологиях. Даже убийство во время охоты еще остается символической связью, в противовес вскрытию с экспериментальной целью. Даже приручение еще остается символической связью, в противовес индустриальному выращиванию. Достаточно обратить внимание на статус животных в крестьянском обществе. При этом не следует смешивать статус доместикации, предусматривающий существование земли, клана, системы родства, в которую входят и животные, со статусом домашнего животного — единственного типа животных, оставшегося нам вне границ заповедников и мест выращивания, — собак, кошек, птичек, хомячков, переполненных любовью своих хозяев. Путь, который прошли животные от божественной жертвы к собачьему кладбищу, над которым льется тихая музыка, от священного вызова к экологической сентиментальности, достаточно говорит о вульгаризации статуса самого человека — что еще раз указывает на неожиданную взаимосвязь между ним и животными. Наше сентиментальное отношение к животным является особенно верным знаком нашего к ним презрения. Оно пропорционально этому презрению. Именно по мере своего отнесения к сфере безответственности, бесчеловечности животное становится достойным человеческого ритуала любви и защиты, точно так, как ребенок по мере своего отнесения к статусу наивности и инфантильности. Сентиментальность — это лишь бесконечно выродившаяся форма зверства, расистского сочувствия, нам надо унизить животных, чтобы вызвать сентиментальность по отношению к ним. Те, кто раньше приносил животных в жертву, не держали их за безмозглый скот. И даже люди средневековья, которые осуждали и наказывали их по всем правилам, были в этом гораздо ближе к ним, чем мы, которых такая практика шокирует. Тогда считали животных виновными: и это была форма их почтения. Мы же не считаем их ни за что, и именно на этой основе мы «гуманны» с ними. Мы больше не приносим их в жертву, мы не наказываем их, и мы гордимся этим, но это лишь потому, что мы одомашнили их, и даже хуже: потому, что мы создали из них радикально низший мир, который даже не заслуживает нашего правосудия, разве что нашу привязанность и на социальное милосердие; который даже не заслуживает наказания и смерти, разве что проведения экспериментов и забоя на мясо на скотобойнях. Именно резорбция любого насилия, которое творится относительно них, и составляет сегодня ужас животных. На смену насилию жертвоприношений, которое выступает «интимным» насилием (Батай), пришло сентиментальное или экспериментальное насилие, которое является насилием отстраненным. Ужас приобрел другое значение. Оригинальный ужас животных, объект террора и очарования, который никогда не бывает негативным, лишь амбивалентным, и является одновременно объектом обмена и метафоры — во время жертвоприношений, в мифологии, в геральдическом бестиарии и даже в наших снах и наших фантазмах, — этот ужас, сопровождающийся всевозможными угрозами и всевозможными метаморфозами, ужас, который втайне находит свое решение в живой культуре людей и является одной из форм альянса, мы обменяли на зрелищный ужас: ужас Кинг-Конга, вырванного из джунглей и превращенного в звезду мюзик-холла. Прежде культурный герой уничтожал зверя, дракона, чудовище — и из разлитой крови возникали растения, люди, культура; сегодня же животное Кинг-Конг приходит, чтобы опустошить индустриальные метрополии, приходит, чтобы освободить нас от нашей мертвой культуры, ставшей такой после того, как она вычеркнула из себя любой реальный ужас и разорвала заключенный с ним пакт (который выражается в фильме через примитивное подношение женщины). Глубинный соблазн фильма обусловлен именно этой инверсией смысла: вся бесчеловечность переходит на сторону людей, весь гуманизм переходит на сторону плененного зверя, и на сторону взаимного соблазна человека и животного, ужасного соблазна одного порядка другим, порядка человеческого и животного. Конг умирает потому, что ему удалось восстановить связь, через соблазн, с этой возможностью метаморфозы одного царства в другое, с этим кровосмесительным промискуитетом между животными и людьми, так никогда и не реализованным, разве что символически-ритуальным образом. В сущности, путь, который прошли животные, не отличается от пути безумия и детства, секса или негритюда. Логика исключения, лишения свободы, дискриминации и, обязательно взамен этого, логика реверсии, обратимого насилия, которое приводит к тому, что целое общество начинает равняться на аксиомы безумия, детства, сексуальности и низших рас (очищенных, следует сказать, от того радикального вопроса, на который они заставляют отвечать из самого средоточия своего исключения). Конвергенция цивилизационного процесса поражает. Животные, подобно мертвым и многому другому, прошли через этот непрерывный процесс приобщения через истребление, который заключается в том, чтобы ликвидировать, а затем заставить говорить исчезнувшие виды, и добиться-таки от них признания своего исчезновения. Заставить говорить животных, как заставляли говорить сумасшедших, детей, секс (Фуко). Это тем более иллюзорно в отношении животных, чей принцип неопределенности, к которому они принуждают человека с момента разрыва их союза, основывается на том, что они не разговаривают. Историческим ответом на вызов безумия стала гипотеза бессознательного. Бессознательное является тем логистическим средством, позволяющим осмысливать безумие (и, более широко, любое странное или аномальное образование) в системе смысла, открытой отсутствию смысла, и которая освобождает место для ужасов бессмысленного, отныне понятного благодаря использованию определенного дискурса: психика, импульс, торможение и т. д. Это сумасшедшие принудили нас к гипотезе бессознательного, но взамен этого мы толкнули их к этой ловушке. Ведь если поначалу Бессознательное будто оборачивается против Разума и несет ему радикальное разрушение, если оно, как кажется, лишь потенциально заряжено на разрыв с безумием, то со временем оно оборачивается против последнего, потому что оно — это то, что позволяет присоединить безумие к разуму более универсальному, чем классический. Сумасшедшие, когда-то немые, сегодня услышаны всеми: благодаря тому, что нашли способ расшифровки их сообщений, которые воспринимались раньше как абсурдные и непонятные. Заговорили дети, они уже больше не эти странные и одновременно малозначительные существа в мире взрослых — дети имеют значение, они превратились в означающее — не вследствие какого-то «освобождения» их речи, а потому, что разум взрослых получил более тонкие средства, чтобы отвести угрозу их молчания. Были услышаны также первобытные люди, к ним обращаются, прислушиваются, они больше не животные, и Леви-Стросс был прав, когда говорил, что их психологическая структура была схожей с нашей, психоанализ соединил их с Эдипом и либидо — сработали все наши коды, и они ответили на них. Они были погребены в молчании, теперь погребены в «говорении», «ином» конечно же, но под лозунгом «различия», как когда-то под лозунгом уникальности Разума, — не следует впадать в заблуждение, — это тот же порядок. Империализм разума, неоимпериализм различия. Главное при этом то, что ничто не избегает верховенства смысла, распределения смысла. Конечно, при всем этом никто с нами не разговаривает — ни сумасшедшие, ни мертвые, ни дети, ни дикари, и, по сути, мы ничего не знаем о них, но важно то, что Разум спас сою репутацию и что ничто больше не замалчивается. Но животные — они по-прежнему не говорят. В мире все возрастающего «говорения», в мире обязательства исповеданья и изъяснения, они единственные остаются немыми, и вследствие этого нам кажется, что они отступили далеко от нас, за горизонт истины. И именно поэтому мы находимся с ними в близких взаимоотношениях. Важна не экологическая проблема их выживания. Важной всегда была и до сих пор остается проблема их молчания. В мире, который стремится к тотальному высказыванию, в мире, собранном под гегемонией знаков и дискурса, их молчание приобретает все большее значение для нашей организации смысла. Конечно, их заставляют говорить, всевозможными способами, один небезневиннее другого. Они были носителями морального дискурса о человеке в баснях. Они поддерживали структурный дискурс в теории тотемизма. Они ежедневно передают свое «объективное» сообщение — анатомическое, физиологическое, генетическое — в исследовательских лабораториях. Они поочередно служили в качестве метафор для добродетелей и пороков, в качестве экологической и энергетической модели, механической и формальной моделью в бионике, фантазматическим регистром в бессознательном и, наконец, моделью полной детерриториализации желания в «животном становлении» Делеза (парадоксальная вещь: избрать животное моделью детерриториализации, тогда как оно является преимущественно существом, связанным с территорией). Во всех этих случаях — в метафоре, во время опыта, в модели, аллегории (не забывая про их пищевую «потребительскую стоимость») — животных обязывают высказываться. Они нигде не говорят по-настоящему, потому что лишь предоставляют те ответы, которых от них требуют. Это их собственный способ отсылать Человеческое к его циркулярным кодам, по которым мы становимся объектом анализа со стороны их молчания. Невозможно избежать реверсии, которая является следствием всякого исключения. Если отказать сумасшедшим в разуме, то это рано или поздно ведет к разрушению принципов разумности, — сумасшедшие, так сказать, берут отмщение. Если отказать животным в бессознательном, в подавлении желаний, в символическом (которое смешивается с языком), то это рано или поздно, можно надеяться, приведет к тому, что в результате чего-то подобного разъединению между безумием и бессознательным, под сомнение будет поставлена правильность этих концептов, — в том виде, в каком они управляют и отличают нас сегодня. Ведь если раньше преимущество Человека основывалось на монополии сознания, то сегодня оно основывается на монополии бессознательного. У животных нет никакого бессознательного, это общеизвестная вещь. Они, несомненно, видят сны, но это предположение биоэлектрического порядка, и им не хватает языка, который единственный способен сделать сон осмысленным, вписав его в символический порядок. Мы можем находиться во власти фантазий относительно них, проецировать на них свои фантазмы и верить, что находимся вместе с ними в этой мизансцене. Но это лишь потому, что нам так удобно, — в действительности животные непостижимы для нас: и в режиме сознательного, и в режиме бессознательного. Следовательно, речь идет не о том, чтобы силой преодолеть их непостижимость, а как раз наоборот, чтобы увидеть, в чем они ставят под сомнение саму эту гипотезу бессознательного и к какой другой гипотезе они нас принуждают. Вот в чем смысл, или нонсенс, их молчания. Вот в чем заключалось молчание безумных, которое привело нас к гипотезе о бессознательном, — вот в чем состоит сопротивление животных, которое заставляет нас менять гипотезу. Ведь если они непостижимы для нас и будут оставаться такими, мы все же живем с ними определенным образом в согласии. И если мы живем таким образом, то не под знаком общей экологии, в некой планетарной нише, являющейся лишь увеличенным измерением Платоновской пещеры, где призраки животных и природные стихии общаются с тенями людей, спасшихся от политической экономии, — нет, наше глубокое согласие с животными, даже с теми, которые исчезают, находится под объединенным знаком, с виду будто обратным, метаморфозы и территории. Кажется, нет ничего более стабильного в плане сохранения вида, чем животные, и все же они являются для нас символом метаморфозы, всех возможных метаморфоз. Нет ничего более странствующего, более кочевого с виду, чем животные, и все же их закон — это закон территории. Следует, однако, отделить от этого понятия территории все контрсмыслы. Речь вовсе не идет ни о расширенном отношении отдельного субъекта или группы к собственному пространству, своего рода органическому праву на частную собственность со стороны индивида, клана или вида, — именно таков фантазм психологии и социологии, расширенной до пределов общей экологии, — ни о разновидности жизненной функции, экологического пузыря, в котором в упрощенном виде представлена вся система потребностей. Территория — это и не пространство, в том значении свободы и присвоения, которое этот термин несет для нас. Ни инстинкт, ни потребность, ни структура (пусть даже «культурная» и «поведенческая»), понятие территории определенным образом противопоставляется также понятию бессознательного. Бессознательное — это «скрытая», подавленная и бесконечно разветвленная структура. Территория открыта и очерчена. Бессознательное — это место бесконечного повторения вытеснения и фантазмов субъекта. Территория же — это то место завершенного цикла происхождения и обменов — без субъекта, но и без исключения: цикл животный и растительный, цикл товара и изобилия, цикл происхождения и продолжения вида, цикл женский и ритуальный, — субъект отсутствует, и все находится здесь в постоянном обмене. Обязательства имеют здесь абсолютный характер, реверсивность тотальная, но здесь никто не испытывает смерти, потому что испытывает метаморфозы. Ни субъекта, ни смерти, ни бессознательного, ни подавления, потому что нет ничего, что препятствовало бы последовательному развитию форм. У животных нет бессознательного, потому что у них есть территория. У людей бессознательное появилось лишь после того, как они потеряли территорию. У них были отобраны одновременно территория и метаморфозы — бессознательное является той индивидуальной траурной структурой, где беспрестанно, и без надежды, переигрывается эта потеря, — и животные вызывают ностальгию по ней. Поэтому вопрос, который они ставят перед нами, будет звучать так: не живем ли мы уже сейчас, несмотря на влияние линейности и аккумуляции разума, несмотря на влияние сознательного и бессознательного, по грубым, символическим правилам цикличности и бесконечной реверсии в рамках ограниченного пространства? И идя дальше за идеальную схему, которая является схемой нашей культуры и, возможно, любой культуры вообще, схему накопления энергии и ее конечного высвобождения, не мечтаем ли мы скорее об имплозии, чем о взрыве, о метаморфозе, скорее, чем об энергии, о долге и ритуальном вызове, скорее, чем о свободе, о территориальном цикле, скорее, чем об… Но животные не задают вопросов. Они молчат.

 ОСТАТКИ

 Когда мы извлекаем все, не остается ничего. Это неверно. Уравнение всего и ничего, вычитание остатка, ошибочно с начала и до конца. И не потому, что остатка нет. Однако последний не располагает ни автономной реальностью, ни собственным местом: это то, что отделено, отграничено, исключено и означает… что именно? Именно благодаря вычитанию остаток фундируется, реализуется и становится… чем именно? Странно то, что для него не существует противоположного члена бинарной оппозиции: можно сказать правые/левые, то же самое/другое, большинство/меньшинство, безумное/нормальное и т. д., но остаток/? По ту сторону черты не стоит ничего. «Сумма и остаток», счет к оплате и сдача, финансовая операция и сальдо — это не отличительные оппозиции. И все же то, что стоит по ту сторону остатка, существует и даже является эксплицитным элементом, сильной долей такта, преобладающим элементом в этой странно асимметричной оппозиции, в этой структуре, которая не является таковой. Но этот эксплицитный элемент не имеет названия. Он анонимен, нестабилен, не имеет определения. Позитивный сам по себе, только через негацию он становится реальным. Строго говоря, его можно было бы определить лишь как остаток остатка. Таким образом, в намного большей степени, чем к четкому отделению двух локализованных элементов, остаток отсылает к обратимой и реверсивной структуре, структуре с неизбежным возвращением, в которой никогда неизвестно, что является остатком чего. Ни в какой другой структуре невозможно выполнить эту реверсию, или это включение вещи в саму себя: мужской род не является женским родом женского рода, нормальное не является сумасшествием сумасшествия, правые не являются левыми относительно левых и т. д. Пожалуй, лишь относительно зеркала этот вопрос будет иметь смысл: что является отражением другого — реальное или его отражение? В этом смысле можно говорить об остатке как о зеркале, или о зеркале остатка. Дело в том, что в обоих случаях демаркационная структурная линия, линия разделения смысла, стала подвижной, а значит, смысл (максимально дословно: возможность двигаться от одного пункта к другому вдоль вектора, определенного путем взаимного позиционирования элементов) больше не существует. Взаимного позиционирования больше нет — ведь реальное исчезает, чтобы уступить место отражению, более реальному, чем реальное, и наоборот — остаток исчезает с лицевой стороны, чтобы вновь возникнуть на изнанке, в том, остатком чего он был и т. д. Так же и с социальным. Кто может сказать, является ли остаток социального остатком несоциализированного, или само социальное не является ли остатком, гигантскими отходами… чего именно? Процесса, который, даже если социальное полностью исчезнет и перестанет называться социальным, все равно будет его остатком. Остаток может быть всюду, на всех уровнях реального. Когда система все поглотила, когда все извлечено и ничего не осталось, вся сумма переворачивается и становится остатком. Обратите внимание на рубрику «Общество» газеты Le Monde, в которой парадоксальным образом появляются лишь иммигранты, преступники, феминистки и т. д. — все, что не социализировалось, «социальные» казусы, аналогичные казусам патологическим. Сектора, которые необходимо поглотить, сегменты, которые изолируются «социальным» по мере его расширения. Определяемые как «остаточные» на горизонте социального, они тем самым попадают под его юрисдикцию и неизбежно находят свое место в расширенной социальности. Именно благодаря этому остатку социальная машина перезаряжается, получает новый заряд энергии. Но что происходит, когда все подчищено, когда все социализировано? Тогда машина останавливается, динамика становится обратной, и вся социальная система сама становится остатком. По мере того, как социальное, двигаясь вперед, ликвидирует все остатки, оно само становится остаточным. Отводя роль «Общества» остаточным категориям, социальное как раз отводит себе роль остатка. Невозможность определить, что же является остатком другого, характеризует фазу симуляции и агонии дистинктивных систем, фазу, в которой все становится остатком и остаточным. И наоборот, фатальное исчезновение структурной черты, отделяющей отходы от"???", что отныне позволяет любому элементу быть остатком другого, характеризует фазу реверсивности, в которой, фактически, остатка больше нет. Оба суждения одновременно «истинные» и не исключают друг друга. Они сами по себе реверсивные. Другой аспект так же необычен, как отсутствие оппозиции: остаток вызывает смех. Любая дискуссия на эту тему провоцирует те же словесные игры, ту же двусмысленность и скабрезность, что и дискуссии о сексе и смерти. Секс и смерть — это те две основные темы, за которыми признается способность провоцировать двусмысленность и смех. Но остаток является третьей, а возможно, и единственной, так как две другие сводятся к ней как к самому символу реверсивности. Ведь почему мы смеемся? Мы смеемся лишь из-за реверсивности вещей, а секс и смерть в высшей степени реверсивные вещи. Именно потому, что ставка в игре между мужским и женским, между живым и мертвым имеет постоянный реверсивный характер, мы и смеемся по поводу секса и смерти. И насколько же это справедливее относительно остатка, который не имеет даже противоположности, который сам проходит через весь цикл и постоянно гонится за собственной второй половиной, за собственным двойником, как Петер Шлемиль за своей тенью? Остаток непристоен, потому что он реверсивен и обменивается сам на себя. Он непристоен и вызывает смех, как вызывает смех, грудной смех, одно лишь отсутствие различия между мужским и женским, между живым и мертвым. Остаток стал сегодня важным элементом. Именно на остатке базируется новая понятийность. Настал конец конкретной логике отличительных оппозиций, где слабый элемент играл роль остаточного члена. Сегодня все инвертируется. Психоанализ сам является первой крупной теоретизацией остатков (оговорки, сны и т. д.). Нами руководит уже не политическая экономия производства, а экономическая политика воспроизводства, переработки (все, что связано с экологией и загрязнением окружающей среды) — политическая экономия отходов. Все нормальное пересматривается сегодня в свете безумия, которое было лишь его незначительным остатком. Приоритет всего остаточного во всех сферах, приоритет невысказанного, феминного, безумного, маргинального, приоритет экскрементов и отходов в искусстве и т. д. Но это — все еще только своего рода инверсия структуры, возвращение подавленного как сильного элемента, возвращение остатка как прироста смысла, как излишка (но излишек формально не отличается от остатка, а проблема траты излишка по Батаю ничем не отличается от проблемы поглощения остатков в политической экономии расчета и дефицита: различаются лишь философские подходы), гипертрофии смысла, когда за основу берется остаток. Тайна всех «либерализаций», которые происходят благодаря энергии, скрытой по ту сторону черты. Но в данный момент мы сталкиваемся с гораздо более оригинальной ситуацией: не ситуацией простой инверсии и выдвижения на первый план остатков, а ситуацией нестабильности любой структуры, любой оппозиции, которая приводит к тому, что больше не остается даже остатка, потому что он повсюду и, играя отграничивающей его чертой, он самоуничтожается как таковой. Ничего не остается не тогда, когда все взято, а скорее тогда, когда все непрерывно смещается и даже добавление больше не имеет смысла. Рождение остаточное, если оно символически не повторено в инициации. Смерть остаточная, если она не разрешена в трауре, коллективной траурной церемонии. Смысл остаточный, если он не поглощен и рассеивается в цикле обменов. Сексуальность остаточная, когда она превращается в производство сексуальных отношений. Само социальное остаточно, когда оно превращается в производство «социальных отношений». Все реальное остаточное, а все то, что остаточное, обречено бесконечно повторяться в фантазмах. Любое накопление является лишь остатком и накоплением остатков, в том смысле, что оно является разрывом целостности и компенсирует в линейной бесконечности накопления и расчета, в линейной бесконечности производства, энергии и смысла то, что раньше осуществлялось в едином цикле. То, что проходит цикл, реализуется полностью, тогда как в измерении бесконечности все то, что находится за пределом бесконечного, за пределом вечности (этого резерва времени, который, как и любой резерв, также является разрывом целостности), все это не что иное, как остаток. Накопление является лишь остатком, и подавление является лишь его обратной асимметричной формой. Именно на резерве подавленных эмоций и репрезентаций базируется наша новая целостность. Однако когда все подавлено, то уже ничто не подавлено. Мы не так уж и далеко от этой абсолютной точки подавления, в которой резервы сами начинают разрушаться, где рушатся запасы фантазмов. Все воображаемое, связанное с запасами, энергией и то, что от них остается, возникает у нас благодаря подавлению. Когда последнее достигает критической точки насыщения, где его очевидность ставится под сомнение, тогда энергию невозможно будет ни высвобождать, ни тратить, ни экономить, ни вырабатывать: даже понятие энергии исчезнет само по себе. Сегодня остаток, энергоресурсы, которые остаются у нас, переработка и консервация являются ключевой проблемой человечества. Как таковая, она не имеет решения. Любая новая энергия, высвобожденная или израсходованная, будет образовывать новый остаток. Любое желание, любое проявление энергии либидо будет вызывать новое подавление. Что же тут странного, ведь сама энергия немыслима без циркуляции, в ходе которой она накапливается и высвобождается, подавляется и «продуцируется», то есть немыслима без этой структуры остатка и его второй части? Чтобы искоренить концепцию энергии, необходимо довести ее потребление до абсурда. Чтобы искоренить концепцию подавления, необходимо довести его до максимума. Когда последний литр энергии будет потреблен (последним экологом), когда последний дикарь будет изучен (последним этнологом), когда последний товар будет произведен последней «рабочей силой», когда последний фантазм будет истолкован последним аналитиком, когда все будет выпущено и потреблено «из последних сил», тогда станет заметно, что эта гигантская спираль энергии и производства, подавления и бессознательного, то, благодаря чему удалось вместить все в одно энтропически-катастрофическое уравнение, что все это в действительности не что иное, как метафизика остатка, и это уравнение вдруг найдет свое решение во всех своих следствиях.

 РАСТУЩИЙ ТРУП

 Университет пришел в упадок, будучи нефункциональным в социальном плане рынка и занятости, лишенным культурной сущности и целенаправленности знания. Даже власть, строго говоря, больше не существует: она также пришла в упадок. Отсюда невозможность возвращения пыла 68-го: обращения критического отношения к знанию против самой власти — эксплозивного противоречия знания и власти (или разоблачения их сговора, что одно и то же) в университете и одновременно через символическое (а не политическое) заражение во всем институционально-социальном порядке. При чем здесь социологи? Они лишь подметили этот сдвиг: глухой тупик знания, головокружение от незнания (то есть одновременно абсурдность и невозможность накопления ценности в порядке знания) оборачивается абсолютным оружием против самой власти, чтобы демонтировать ее согласно тому же умопомрачительному сценарию лишения права властвовать. Именно в этом состоит эффект 68-го. Он невозможен сегодня, когда сама власть, вслед за знанием, была низложена, стала неуловимой — самоустранилась. В рамках институтов, которые отныне находятся в подвешенном состоянии, без содержания знания, без структуры власти (разве что этой структурой является архаичный феодализм, руководящий механизмом симулякра, назначение которого ему не понятно, и чье сохранение такое же искусственное, как сохранение бараков и театров) агрессивное вторжение невозможно. Значение имеет лишь то, что ускоряет разложение, акцентируя внимание на пародийной стороне, на характере симулякра той игры, которую ведут агонизирующее знание и агонизирующая власть. С забастовкой все как раз наоборот. Она снова восстанавливает идеал возможного университета, фикцию всеобщего доступа к культуре, которую невозможно найти и которая больше не имеет смысла. Этот идеал начинает функционировать вместо университета как его критическая альтернатива, как его терапия. Эта фикция все еще грезит незыблемостью и демократией знания. Кроме того, сегодня повсюду эту роль выполняют левые: именно убежденность левых снова прививает идею справедливости, логики и социальной этики прогнившему аппарату, который распадается, теряет всю свою легитимность и почти добровольно отказывается функционировать. Именно левые со своей конспирологией отчаянно восстанавливают власть, ведь они стремятся к ней, а значит, верят в нее и возвращают ее к жизни там, где система кладет ей конец. Система уже положила конец, одной за другой всем аксиомам, всем институтам власти и реализует одну за другой все цели исторических и революционных сил. Сами левые вынуждены восстанавливать все механизмы капитала, чтобы иметь возможность предъявить их однажды: от частной собственности до малого бизнеса, от армии до национального величия, от пуританской этики до мелкобуржуазной культуры, от правосудия до университета — все то, что исчезает, то, что сама система ликвидировала в своей жестокости, конечно, но и в своем необратимом порыве, должно быть сохранено. Отсюда парадоксальная, но и необходимая инверсия всех терминов политического анализа. Власть (или то, что занимает ее место) уже не верит в Университет. На самом деле она знает, что он — это лишь зона размещения и надзора за целой возрастной категорией, поэтому ей нет дела до отбора — свою элиту она отыщет в другом месте или же иным способом. Дипломы ничего не значат: почему бы вообще не отказаться выдавать их, но власть готова выдавать их всем; для чего бы эта провокационная политика, если не для того, чтобы кристаллизовать энергию на фиктивной цели (отбор, работа, дипломы и т. д.), на уже мертвом и разлагающемся референтном? Загнивающий Университет может нанести еще много вреда (загнивание является средством символическим — не политическим, а символическим, поэтому субверсивным). Но в таком случае следовало бы начать с этого загнивания, а не грезить воскрешением. Следовало бы трансформировать это загнивание в насильственный процесс, в насильственную смерть посредством осмеяния и вызова, посредством растиражированной симуляции, которая представила бы ритуал смерти университета как модель разложения всего общества, заразную модель неприязни целой социальной структуры, которую смерть, наконец, разрушит. Как раз это отчаянно старается предотвратить забастовка, находясь в тайном сговоре с системой, но преуспевает при этом лишь в превращения смерти университета в медленную смерть, в отсрочку, которая перестает даже служить возможным поводом для субверсии, для наступательной реверсии. Именно это показали события мая 68-го. В момент, когда духовный упадок университета и культуры зашел еще не слишком далеко, студенты, далекие от желания спасать оснастку (восстанавливать утраченный объект — в идеале), выступили против власти, бросая ей вызов тотальной, немедленной смерти институтов, вызов детерриториализации, еще более интенсивной, чем та, которую осуществляла система, настаивая, чтобы власть ответила на это полное крушение института знания, на это полное отсутствие потребности концентрации в определенном месте, на эту смерть, к которой, в конце концов, стремились, — речь шла не о кризисе университета, потому что кризис — не вызов, а наоборот, часть игры системы, а о смерти университета — вот на это власть и не сумела ответить, разве что самораспустившись вместо ответа (возможно, на мгновение, но мы видели это). Баррикады 10 мая, казалось, были оборонительными и защищали территорию: Латинский квартал, Сорбонну. Однако это не так: за этой видимостью прятался мертвый университет, мертвая культура, относительно которых они бросали вызов власти, и их собственной возможной смерти одновременно — вызов превращением в немедленную жертву, которое было лишь долговременной операцией самой системы: через ликвидацию культуры и знания. Баррикады предназначались не для того, чтобы спасти Сорбонну, а для того, чтобы поднять на флаг ее труп и публично размахивать им, так же как негры Уоттса и Детройта поднимают на флаг руины своих кварталов, которые они сами до этого подожгли. Что можно поднять на флаг сегодня? Даже не руины знания или культуры — руины сами исчезли. Мы знаем это, мы в течение семи лет носили траур по Нантеру. 68-й год умер, и его можно повторить лишь как траурный фантазм. То, что могло бы быть его эквивалентом в плане символического насилия (то есть за пределами политического), так это та же операция, которая заставила незнание, загнивание знания взорваться, столкнувшись с властью, — нужно отыскать эту невероятную энергию, но никак не на том же уровне, а на высшем витке спирали: заставить невласть, загнивание власти взорваться, столкнувшись — с чем именно? Вот где проблема. Возможно, она не имеет решения. Власть теряется, власть исчезает. Вокруг нас лишь манекены власти, однако механическая иллюзия власти еще руководит социальным порядком, иллюзия, за которой возрастает невидимый, неразборчивый террор контроля, террор окончательной кодификации, жалкими терминалами которого мы являемся. Набрасываться на репрезентацию также нет большого смысла. Мы хорошо ощущаем, что все студенческие конфликты (равно как, более широко, конфликты на уровне всего общества), которые сосредоточены вокруг репрезентации, делегирование власти, по той же причине являются лишь призрачными перипетиями, впрочем, еще достаточными для того, чтобы, от отчаянья, занимать авансцену. Вследствие не понятно уж какого эффекта Мебиуса, репрезентация также обернулась против себя самой, и целый логический мир политического прекращает существовать, уступая место бесконечной вселенской симуляции, где сразу происходит так, что никто не имеет своего представительства и не представляет больше ничего, где все то, что накапливается, одновременно и распадается, где даже исчез аксиологический, направляющий фантазм власти, который всегда приходил на помощь. Миру, для нас еще непостижимому, неузнаваемому, с губительными характеристиками, который никак не вписывается в нашу ментальную систему координат, ортогональную и направленную в линейную бесконечность критики и истории. Впрочем, именно здесь и нужно сражаться, если это еще имеет какой-то смысл. Мы симулянты, мы симулякры (но не в классическом значении «подобия»), мы — вогнутые зеркала, попавшие под излучение социального, излучение без источника света, власть без происхождения, без дистанции, и именно в этом тактическом мире симулякра и нужно будет сражаться — без надежды, ибо надежда ничего не стоит, но с вызовом и обаянием. Ведь не следует отвергать интенсивное обаяние, исходящее от этого духовного упадка всякой власти, всех осей ценности, всей аксиологии, в том числе и политической. Этот спектакль, который является одновременно агонией и апогеем капитала, безусловно превосходит спектакль товара, описанный ситуационистами. В этом спектакле наша главная сила. Соотношение наших сил в противостоянии с капиталом уже нельзя назвать шатким или победным, оно политическое, и в этом фантазм революции. Мы находимся в отношениях вызова, соблазна и смерти с этим миром, который уже не является единым, потому что лишен осевой симметрии. На вызов, который в своем бреду бросает нам капитал — бесстыдно ликвидируя закон прибыли, прибавочной стоимости, нацеленности на производство, структуру власти и возвращаясь по завершению своего процесса к полной аморальности (но также и соблазнительности) примитивных ритуалов разрушения, вот на этот вызов и нужно ответить на самом высоком уровне. Капитал, как ценность, безответственный, безвозвратный, неотвратимый. Только ценность капитала способна представить фантастическое зрелище своего разложения — только призрак ценности парит еще над пустыней классических структур капитала, так же как призрак религии парит над миром, уже давно десакрализованным, как призрак знания парит над университетом. Нам еще предстоит снова стать кочевниками в этой пустыне, но уже свободными от механической иллюзии ценности. Мы будем жить в этом мире, который сохраняет для нас всю волнительную необычность пустыни и симулякра, со всем правдоподобием живых призраков, бродячих симулирующих животных, в которых нас превратил капитал, смерть капитала, — ведь пустыня городов аналогична пустыне из песков — джунгли знаков аналогичны джунглям из деревьев — головокружение от симулякров аналогично головокружению от природы, — единственный оставшийся головокружительный соблазн агонизирующей системы, в которой труд хоронит труд, а ценность хоронит ценность — оставляя пустое пространство, нетронутое, невозмутимое, непрерывное, как того хотел Батай, пространство, где лишь ветер вздымает песок, где лишь ветру есть дело до песка. Что же можно со всем этим сделать в политическом плане? Очень немногое. Однако мы должны сражаться еще и против глубокого обаяния, которое вызывает в нас агония капитала, против инсценировки капиталом своей собственной смерти, реальными участниками которой выступаем мы. Оставить ему инициативу его собственной смерти означает отдать ему все преимущества революции. В окружении симулякра ценности и призрака капитала и власти мы намного беззащитней и беспомощней, чем тогда, когда мы находимся в окружении закона стоимости и товара, поскольку система оказалась способной включить в себя свою собственную смерть, освободив нас от ответственности за нее, а следовательно и от цели нашей собственной жизни. Эту великолепную уловку системы, заключающуюся в симулякре ее смерти, благодаря которому она поддерживает в нас жизнь, ликвидировав путем абсорбции любую возможность возражения, может остановить лишь еще большая хитрость. Вызов или мнимая наука, только патафизика симулякров может вывести нас из стратегии симуляции системы и тупика смерти, в который она нас загоняет.

 ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО ЦЕННОСТИ

 Там, где ничего нет на своем месте, царит беспорядок. Там, где в нужном месте нет ничего, царит порядок.

 Брехт

 Паника администрации университета при мысли, что дипломы будут выдавать без соответствующего количества «реального усердия», без эквивалентности знаний. Эта паника не связана с политической субверсией, это паника от очевидности того, что ценность отделяется от своего содержания и функционирует сама по себе, в самой своей форме. Университетские ценности (дипломы и т. д.) будут множиться и продолжать циркулировать, подобно тому, как это делают плавающие валютные курсы, они будут кружить по восходящей спирали, лишенные всякого критерия референтности, пока полностью не обесценятся, однако это не имеет значения: одной лишь циркуляции их достаточно для того, чтобы создать социальный горизонт ценности, и присутствие призрачной ценности от этого только возрастает, даже если ее референтная основа (ее потребительская стоимость, ее меновая стоимость, академическая «рабочая сила», которую она охватывает) теряется. Ужас ценности, лишенной эквивалентности. Эта ситуация лишь выглядит новой. Она нова для тех, кто думает, что в университете все еще происходит реальный учебный процесс, и вкладывает в это свой жизненный опыт, свои нервы, смысл своего существования. Обмен знаками (знаниями, культурой) в университете, между «теми, кто учит», и «теми, кого обучают», с определенного времени уже только двойной сговор горечи и безразличия (индифферентность знаков, которая влечет за собой охлаждение в общественных и человеческих отношениях), двойной симулякр психодрамы (с позорной потребностью в тепле, в присутствии, с эдипальным обменом, с педагогическим инцестом, который стремится занять место утраченного обмена труда и знаний). В этом смысле университет остается местом безнадежной инициации, приобщения к пустой форме ценности, и тот, кто находится в нем на протяжении нескольких лет, знаком с этой странной работой, с настоящей безнадежностью «нетруда» и «незнания». Ведь современные поколения еще мечтают читать, изучать, конкурировать, однако душа уже не лежит к этому, — одним словом, аскетическая культурная ментальность исчезла вместе с телесной и имущественной аскезой. Вот почему забастовка больше ничего не значит. Вот еще почему мы попали в ловушку, мы сами загнали себя в ловушку после 68-го, когда начали выдавать дипломы всем подряд. Субверсия? Отнюдь. Мы в очередной раз стали учредителями передовой формы, чистой формы ценности: дипломов без усердия. Система уже не хочет их, но она хочет вот чего — операционных ценностей в пустоте, — и мы были теми, кто открыл это, с иллюзией, что выполняем противоположное. Уныние студентов от того, что их одаривают дипломами без усердия, равно унынию преподавателей и дополняет его. Оно более скрыто и более коварно, чем традиционное опасение потерпеть неудачу или получить ничего не стоящие дипломы. Гарантированное получение диплома, которое лишает смысл все превратности учебного процесса и отбора, переносится тяжело. Нужно еще усложнить его то ли выгодой-алиби в виде симулякра усердия, который обменивается на симулякр диплома, то ли формой агрессии (преподаватель призван преподавать курс, или же рассматривается как некий автораздатчик?) или злости, с тем, чтобы могло происходить еще хоть что-то напоминавшее «реальные» отношения. Но ничто не помогает. Даже внутренние ссоры между преподавателями и студентами, из которых в основном и состоят их реальные взаимоотношения, являются лишь напоминанием и своего рода ностальгией по насилию или соучастию, тому, что когда-то сталкивало или объединяло их вокруг научной цели, или же цели политической. «Жесткий закон стоимости», «закон, высеченный из камня» — когда он покидает нас, каково же уныние, какова паника! Вот почему для фашистских и авторитарных режимов еще настанут хорошие времена, ведь они воскрешают что-то вроде насилия, необходимого для жизни — перенесенного, или нанесенного неважно. Насилие ритуала, насилие труда, насилие знания, насилие крови, насилие власти и политического — все годится! Соотношение сил, противоречия, эксплуатация, репрессии — с этим все понятно, все ясно! Сегодня этого не хватает, и потребность в этом дает о себе знать. Когда преподаватель прибегает к перенаделению своей власти через «свободу слова», самоуправление группы и другую современную чушь — это всего лишь игра на уровне университета (однако таким же образом строится вся политическая сфера). И этим никого не одурачишь. Просто для того, чтобы избежать глубокого разочарования, катастрофы, к которой влечет потеря роли, статуса, ответственности и невероятная демагогия, разворачивающаяся через это все, необходимо воссоздать в профессоре хотя бы манекен власти и знания, или наделить его хотя бы частицей легитимности, исходящей от крайне левых, — иначе ситуация станет невыносимой для всех. Именно благодаря этому компромиссу: искусственность фигуры преподавателя, сомнительное соучастие студента, — именно по такому призрачному педагогическому сценарию все и продолжаются, и на сей раз может продлиться неопределенно долгое время. Ведь конец наступил для ценности и для труда, но не для симулякра стоимости и симулякра труда. Мир симуляции трансреален и бесконечен: никакое испытание реальностью уже не сможет положить ему конец — разве что всеобъемлющий обвал и оползень, сдвиг, который остается нашей самой безумной надеждой.

 О НИГИЛИЗМЕ

 C нигилизма исчезли мрачные краски в стиле Вагнера и Шпенглера, черные как копоть цвета конца XIX века. Он больше не берет своего начала ни в Weltanschauung (мировоззрении) декаданса, ни в метафизическом радикализме, порожденном смертью Бога и всеми теми последствиями, которые из нее вытекают. Сегодняшний нигилизм — это нигилизм транспарентности, и в определенной степени он более радикальный и решительный, чем его предыдущие исторические формы, ведь эта прозрачность, это пребывание в подвешенном состоянии — неотъемлемые признаки системы и любой теории, претендующей на ее анализ. Когда Бог умер, еще был Ницше, чтобы засвидетельствовать это, — великий нигилист перед лицом Вечного и перед трупом Вечного. Но перед мнимой транспарентностью всего на свете, перед симулякром материалистической или идеалистической завершенности мира в гиперреальности (Бог не умер, он стал гиперреальным) уже больше нет теоретического или критического Бога, чтобы распознать своих. Мир и мы все живьем попали в симуляцию, в губительную, даже не губительную, а индифферентную сферу апотропии: нигилизм, и тот необычным образом, полностью реализовался не через разрушение, а через симуляцию и апотропию. Из активного, насильственного фантазма, из мифа и сцены, которыми он был исторически, он перешел в транспарентную, фальшиво прозрачную операциональность явлений. Так что же остается от теоретически возможного нигилизма? Какая новая сцена может открыться, чтобы на ней вновь могли бы появиться Ничто и Смерть как вызов, как ставка в игре? Мы находимся в новой и, без сомнения, неразрешимой ситуации относительно предыдущих форм нигилизма. Его первым мощным проявлением стал Романтизм: вместе с Революцией Просвещения он соответствует разрушению порядка очевидного. Сюрреализм, дадаизм, абсурдизм, политический нигилизм являются его вторым серьезным проявлением и соответствуют разрушению порядка смысла. И если первое проявление еще является эстетической формой нигилизма (дендизм), второе — его политическая форма, историческая и метафизическая (терроризм). Обе эти формы касаются нас лишь отчасти или вовсе не касаются. Нигилизм транспарентности уже не эстетический и не политический, он уже не проистекает не из процесса уничтожения очевидного, не из процесса уничтожения остатков смысла или последних нюансов Апокалипсиса. Впрочем, нет больше и Апокалипсиса (лишь алеаторный терроризм еще пытается быть его отражением, однако он уже утратил признаки политического, и у него остался только один способ самовыражения, который одновременно является способом исчезновения: средства массовой информации; но СМИ — это не та сцена, где разыгрывается некий спектакль, — это лента, дорожка, перфокарта, относительно которой мы уже даже не зрители, а просто получатели информации). Апокалипсис закончился, и сегодня мы имеем дело с прецессией нейтрального, форм нейтрального и индифферентности. Я оставляю открытым вопрос, есть ли здесь некий романтизм, некая эстетика нейтрального. На мой взгляд, нет — все, что остается, это завороженность пустыми и индифферентными формами, самим действием той системы, которая нас уничтожает. Но завороженность (в противовес соблазну, связанному с очевидным, и диалектическому мышлению, связанному со смыслом) представляет собой в высшей степени нигилистическую страсть, страсть, присущую режиму исчезновения. Мы заворожены всеми формами исчезновения, нашего исчезновения. Мы меланхоличны и заворожены — таково наше общее состояние в эпоху принудительной транспарентности. Я — нигилист. Я констатирую, я принимаю, я смиряюсь с тотальным процессом разрушения очевидного (и соблазна очевидностей) в пользу смысла (репрезентации, истории, критики и т. д.), разрушения являющегося основополагающим фактом XIX века. Истинная революция XIX века, революция модерна, заключается в коренном разрушении очевидного, в освобождении мира от чар и его погружении в насилие интерпретации и истории. Я констатирую, я принимаю, я примиряюсь, я анализирую вторую революцию, революцию XX века, революцию постмодерна, которая является тотальным процессом разрушения смысла, равным предыдущему разрушению очевидного. То, что поражает смысл, от смысла и погибает. Диалектическая сцена, сцена критическая опустели. Сцены больше нет. Как нет и терапии смысла или терапии смыслом: терапия сама является частью общего процесса распространения индифферентности. Сцена самого анализа стала неопределенной, алеаторной: теории стали шаткими (фактически, невозможен и нигилизм, так как он все же хоть и отчаянная, но конкретно очерченная теория, образ конца, Weltanschauung (мировоззрение) катастрофы). Сам анализ является, возможно, решающим элементом гигантского процесса обледенения смысла. Тот прирост смысла, который вносят теории, их конкуренция на уровне смысла абсолютно вторичны, сравнительно с их коалицией в обледеняющей, четырехуровневой операции по разложению и транспарентности. Нужно четко осознавать, что каким бы образом ни шел анализ, он движется в одном направлении — к обледенению смысла, он способствует прецессии симулякров и индифферентных форм. Пустыня разрастается. Имплозия смысла в средствах информации. Имплозия социального в массах. Бесконечное разрастание масс по мере ускорения системы. Энергетический тупик. Точка инерции. Перенасыщенный мир обречен на инерцию. Проявление инерции ускоряется (если можно так сказать). Застывшие формы разрастаются как опухоль, и их разрастание останавливает, подменяет собой настоящий рост. В этом, кстати, секрет гипертелии, того, что идет дальше, чем его собственный предел. Это могло бы стать нашим собственным способом отмены окончательности: идти дальше и дальше в том же направлении — к разрушению смысла через симуляцию, гиперсимуляцию, гипертелию. Отрицать собственный конец через гиперфинальность (как ракообразные, как статуи острова Пасхи) — не в этом ли мерзкая тайна раковой опухоли? Реванш разрастания — в росте, реванш скорости — в инерции. Относительно масс, то они сами попали в этот тотальный процесс инерции, обусловленной ускорением. Они и составляют этот процесс разрастания и пожирания, который сводит на нет любой рост и любой прирост смысла. Они и составляют эту цепь, в которой чудовищная финальность привела к короткому замыканию. Именно эта точка инерции и то, что происходит за ее пределами сегодня как раз и завораживает, увлекает (поэтому улетучился скромный шарм диалектики). Если быть нигилистом — это отдавать приоритет этой точке инерции и анализу этой ирреверсивности системы, когда она доходит до точки невозврата, тогда я нигилист. И если быть нигилистом — значит быть одержимым уже не созданием, а исчезновением, тогда я — нигилист. Исчезновение, афаниз, имплозия, Furie des Verschwindens (ярость исчезновения). Трансполитика стала еще одной, дополнительной сферой исчезновения (реального, смысла, сцены, истории, социального, личности). Строго говоря, это уже даже и не совсем нигилизм: в исчезновении, в пустой, алеаторной и индифферентной форме уже нет даже пафоса, патетики нигилизма — той мифической энергии, которая до сих пор составляла силу нигилизма, его радикальный характер, его мифическое отрицание, его драматическую антиципацию. Нигилизм уже даже не освобождение от чар в восторженной тональности соблазна и ностальгии по разочарованию. Это просто исчезновение. Следы этого радикального исчезновения (вместе с ностальгическим использованием диалектики) заметны уже у Адорно и Бенджамина. Во-первых, именно потому, что у них присутствует ностальгия по диалектике, а самая изысканная диалектика, бесспорно, всегда будет ностальгической. Но на более глубоком уровне у Бенджамина и Адорно слышится другая тональность — тональность меланхолии, связанной с самой системой, меланхолии неизлечимой и за пределами любой диалектики. Именно эта меланхолия системы берет сегодня верх посредством иронических прозрачных форм, которые окружают нас. Именно она становится нашей фундаментальной страстью. Это уже не сплин или смутные душевные порывы конца столетия. Это уже и не нигилизм, так как он в определенном смысле стремится через разрушение, через страстное негодование (ницшеанское ressentiment) установить равновесие. Нет, меланхолия — это основная тональность функциональных систем, современных систем симуляции, программирования и информации. Меланхолия — неотъемлемая черта исчезновения смысла, испарения смысла в операциональных системах. И все мы погружены в меланхолию. Меланхолия — это та жестокая неудовлетворенность, которая характеризует нашу перенасыщенную систему. Однажды надежда уравновесить добро и зло, истинное и ложное и даже противопоставить друг другу некоторые ценности одного и того же порядка, как и более общая надежда на какое-то соотношение сил и какую-то цель исчезла без следа. Система слишком сильна. Она и властвует. Везде и всегда. Чтобы противостоять этой гегемонии системы можно превозносить ухищрения влечения, революционную практику микрологии обыденного, превозносить молекулярное движение или даже отрицать приготовление пищи. Но это не решает насущную необходимость испытать систему на прочность на глазах у всех. Это может сделать лишь терроризм. Это та черта реверсии, которая перечеркивает все остальное, так же, как одна ироническая ухмылка перечеркивает весь дискурс, а одна вспышка неповиновения раба перечеркивает всю власть и все упоение от власти хозяина. Чем более гегемонистской является система, тем более поражают воображение малейшие ее неудачи. Вызов, пусть даже ничтожный — это как обрыв в цепи. Только эта ни с чем несравнимая реверсивность является сегодня событием на нигилистической и недружелюбной сцене политики. Только это мобилизует воображаемое. Если быть нигилистом — это означает переносить, вплоть до границы непереносимости гегемонистской системы, эту радикальную черту насмешки и насилия, этот вызов, на который система вынуждена ответить своей собственной смертью, тогда я террорист и нигилист теории, так же как другие террористы и нигилисты с оружием в руках. Теоретическое насилие, а не истина, является тем единственным ресурсом, который у нас остался. Однако именно в этом и кроется утопия. Потому что путь нигилиста был бы прекрасен, если бы еще существовал радикализм, — так же как путь террориста был бы привлекателен, если бы смерть, включая смерть террориста, еще имела какой-то смысл. Однако именно здесь ситуация становится неразрешимой. Потому что этому активному нигилизму радикальности, система противопоставляет собственный — нигилизм нейтрализации. Система сама нигилистична, в том смысле, что она своей мощью превращает все, в том числе и то, что ее отрицает, в индифферентность. В этой системе сама смерть поражает своим отсутствием. (Вспомните крупные теракты последних лет: смерть аннулирована индифферентностью, и в этом терроризм является невольным соучастником системы — не в политическом плане, а в том, что он также вносит свой вклад в насаждение и продвижение безразличия.) Для смерти — ни ритуальной, ни насильственной — уже не осталось сцены — ни фантазматической, ни политической, — где она в полной мере могла бы проявить себя, полностью сыграть свою роль. И в этом победа другого нигилизма, другого терроризма — нигилизма и терроризма системы. Сцены больше нет, нет даже той минимальной иллюзии, благодаря которой события могут приобретать признаки реальности, — нет больше ни сцены, ни духовной или политической солидарности: что нам до Чили, республики Биафра, беженцев, до терактов в Болоньи или польского вопроса? Все, что происходит, аннигилируется на телевизионном экране. Мы живем в эпоху событий, которые не имеют последствий (и теорий, которые не имеют выводов). Нет больше надежды для смысла. И, без сомнения, это действительно так: смысл смертен. Но все то, чему он навязывал свое эфемерное господство, то, что он полагал ликвидировать, чтобы навязать господство Просвещения, — то есть очевидное — все это бессмертно, неуязвимо даже для самого нигилизма смысла или бессмыслицы. И вот где начинается соблазн.

 Оглавление

 ПРЕЦЕССИЯ СИМУЛЯКРОВ

 Божественная ирреферентность образов

 Рамсес, или Воскрешение в розовом

 Гиперреальное и воображаемое

 Политическое колдовство

 Обратная сторона ленты Мебиуса

 Стратегия реального

 Конец паноптизма

 Орбитальное и ядерное

 ИСТОРИЯ КАК РЕТРОСЦЕНАРИЙ

 ХОЛОКОСТ

 «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ»

 «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ»

 ЭФФЕКТ БОБУРА: ИМПЛОЗИЯ И АПОТРОПИЯ

 ГИПЕРМАРКЕТ И ГИПЕРТОВАР

 ИМПЛОЗИЯ СМЫСЛА В СРЕДСТВАХ ИНФОРМАЦИИ

 АБСОЛЮТНАЯ РЕКЛАМА — НУЛЕВАЯ РЕКЛАМА

 ИСТОРИЯ КЛОНОВ

 ГОЛОГРАММЫ

 «АВТОКАТАСТРОФА»

 СИМУЛЯКРЫ И НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

 ЖИВОТНЫЕ: ТЕРРИТОРИЯ И МЕТАМОРФОЗЫ

 ОСТАТКИ

 РАСТУЩИЙ ТРУП

 ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО ЦЕННОСТИ

 О НИГИЛИЗМЕ